

Н. Решетовская

# В споре со временем

РЛ  
Р014  
1975

*Н. Решетовская*

# **В споре со временем**

*Издательство Агентства печати Новости*



## В о й н а

Воскресным утром 22 июня 1941 года с поезда Ростов — Москва на перрон Казанского вокзала сошел молодой человек. Только теперь, ступив на московскую землю, он, Александр Солженицын, 22-х лет от роду, начал новую жизнь. Сдав последний экзамен на физико-математическом факультете Ростовского университета, он решил расстаться с точными науками и целиком посвятить себя литературе.

Солженицын приехал в Москву сдавать экзамен за 2-й курс института, в котором учился заочно, параллельно с занятиями в университете, — Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ).

Теперь математика нужна ему только ради хлеба насущного. А для души, для заветной цели, нужно полноценное гуманитарное образование. С ранних лет Саня Солженицын мечтал стать писателем.

*«В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее его и подавляющие обилием знаний... Понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным!»\**

---

\* Курсивом даны отрывки из романа А. Солженицына «В круге первом».

Трамваем в Сокольники... МИФЛИ... В вестибюле: расписание занятий и экзаменов.

МИФЛИ — это путь наверх! Здесь самые знаменитые профессора страны! Даже студенты этого института чем-то неуловимым отличаются не только от каких-то медиков и инженеров, но и от филологов других вузов. Недавний студент Александр Твардовский в прошлом году награжден орденом Ленина за свою поэму.

Боевое настроение не исчезло и когда выяснилось, что заочников поселяют не в привычной, полюбившейся школе тут же рядом, а в общежитии на Стромынке вперемишку с «чужими» — студентами Московского университета.

Но вот, кажется, приблизительно устроился. Книги, конспекты сложены в тумбочку.

Вдруг диктор (радио в комнате включено) предлагает послушать важное правительственное сообщение... Что это? Неясное и тревожное предчувствие чего-то значительного...

Война... Война с Германией!

Многие студенты МИФЛИ записываются добровольцами. Санин военный билет остался в Ростове. Мобилизован он может быть только там. Надо ехать! Он должен проситься в артиллерию. Но не помешает ли ему его «ограниченная годность»?..

В том, что Саня был ограниченно годен к военной службе, виной была его нервная система.

Все, кто видел портреты Солженицына, обращали внимание на шрам, пересекающий правую сторону лба. Многие считали: это памятный след — то ли войны, то ли тюрьмы. Солженицын не подтверждал этого, но и не разуверял. А я, помня этот шрам с нашей первой встречи, не расспрашивала мужа о нем. Было как-то неловко. Узнала я о происхождении этого шрама лишь в 1973 году, спустя добрую треть века после нашего знакомства. Узнала от доктора медицинских наук, известного хирурга Кирилла Симоняна, одноклассника мужа.

Так уж случилось, что мы не виделись с Кириллом 20 лет.

Теперь мы с любопытством приглядывались друг к другу.

— Кирилл, ты знаешь, сейчас я пытаюсь во многом переосмыслить, лучше понять прошлое... Чтобы понять настоящее, чтобы понять то, что произошло... Мне кажется, что истоки этого лежат где-то далеко, далеко...

И, собравшись вести очень серьезный разговор, я почему-то начала его со ... шрама.

А Кирилл не удивился.

— Ты ведь знаешь,— сказал он,— что Саня в детстве был очень впечатлителен и тяжело переживал, когда кто-нибудь получал на уроке оценку выше, чем он сам. Если Санин ответ не тянул на «пятерку», мальчик менялся в лице, становился белым, как мел, и мог упасть в обморок. Поэтому педагоги говорили поспешно: «Садись. Я тебя спрошу в другой раз». И отметку не ставили.

Такая болезненная реакция Сани на малейший раздражитель удерживала и нас, его друзей, от какой бы то ни было критики в его адрес.

Даже когда он, будучи старостой класса, с каким-то особым удовольствием записывал именно нас: меня и Лиду — самых близких приятелей в дисциплинарную тетрадь,— мы молчали. Бог с ним.

Так же с оглядкой на Санину нервозность вели себя и педагоги. Это в конце концов создало в нем веру в какую-то непогрешимость своей личности, какую-то исключительность.

Но как-то преподаватель истории Бершадский начал читать Сане нотацию, и Саня действительно упал в обморок, ударился о парту и рассек себе лоб.

Все были очень напуганы. Учителя относились после этого к Сане еще осторожней.

— Мне кажется, что человеком, который зародил в нас любовь к литературе и искусству,— продолжал Симонян,— была Анастасия Сергеевна.— Она начала учить нас с 7-го класса. К предмету своему она относилась буквально с восторгом. И этот восторг передавался нам. С ней мы не чувствовали себя детьми, потому что она нас считала взрослыми.

Сочинения о Шекспире, Байроне, Пушкине мы писали, обложившись внешкольными источниками, и старались перещеголять один другого. Постепенно выяснилось, что лучше других это получается у Лиды Ежерец, Сани Солженицына, у меня.

Сначала мы писали стихи, очень плохие и очень подражательные, пока Анастасия Сергеевна не предложила нам писать сообща романы.

Одновременно мы начали издавать сатирический журнал, в котором помещали стихи, эпиграммы друг на друга, а то и на учителей, получая от них такие оценки: остроумно; не очень остроумно; остроумно, но бестактно и т. д.

В 9-м и 10-м классе к этому присоединилось еще увлечение театром. Мы организовали драмкружок и репетировали пьесы Островского, Чехова, Ростана. В нашем классе были готовые персонажи для любых образов. Саня, конечно же, и здесь должен был быть первым и ему поручались роли «первых любовников». Он даже пытался поступить в 36-м году в студию Завадского. Голосовые связки подвели.

После окончания школы, когда мы все трое оказались в разных институтах, мы виделись уже значительно реже. Но увлечение литературой осталось. Лида оказалась самой последовательной и, окончив филологический факультет пединститута и аспирантуру МГУ, стала литературным критиком. Мы двое ходили в литературный кружок при доме медработников. А потом поступили в МИФЛИ.

За разговором, который я описываю, скрыто звучала вторая, более глубокая тема. Ведь люди говорят не только словами... Кажется, порой у нас возникал контрапункт. Роман О. Хаксли с таким названием мы в молодости очень любили...

Как это часто в жизни бывает, через несколько дней после первой встречи с Симоняном я, перебирая письма мужа тюремного времени, натолкнулась на любопытное его высказывание, связанное с этим самым «Контрапунктом» Хаксли. Солженицына в свое время поразила мысль о том, что все случающееся с человеком неизбежно похоже на него самого. Он стал проверять это на своей жизни и поразился меткости замечания. Многие «случайности», если разобраться,— всегда плод, отпечаток натуры человека, с которым эти случайности происходят.

Интересно, что по этому поводу сказал бы сейчас сам Солженицын? Рассуждения о том, что каждый народ заслуживает своей судьбы,— я от него слышала. А каждый человек?..

Вернувшись в Ростов, муж поспешил в военкомат. Его порыв сдержали. Предложили ждать.

Почти все выпускники университета были вскоре мобилизованы и посланы в военные училища. В их числе был и самый большой наш общий друг Николай Виткевич — «Кока».

Кока учился в школе вместе с Саней, Лидой и Кириллом.

В 1936 году, когда Саня поступил на физико-математический факультет, Лида — в педагогический институт, Кока и Кирилл — на химфак университета. Туда же поступила и я.

Еще после 8-го класса школы я начала учиться в Ростовском музыкальном училище по классу рояля. Я попала к превосходному преподавателю Евгению Федоровичу Гировскому. Училась вместе и играла на двух роялях с талантливой Гаянэ Чеботарян, ставшей позже композитором.

По окончании школы собиралась полностью посвятить себя музыке. Но я очень любила и науки. Еще в школе я частенько все выходные дни просиживала над решением задач, которых нам не задавали. На втором месте после математики у меня была химия. Я особенно любила эту науку после того, как узнала разгадку той таинственной таблицы со знаками уже знакомых и еще не знакомых химических элементов, которая висела в нашем химическом кабинете. Оказалось, что таблица гениального Менделеева содержала все кирпичики, из которых сложено наше мироздание, и даже оставляла простор для тех, которые будут открыты в будущем. Полагая, что математика все-таки не для женской головы, даже если она хорошо соображает, я выбрала химию. Потому раньше, чем с Саней, познакомилась и тут же подружилась с Кокой и Кириллом.

Кирилл через год перешел в мединститут, а мы с Кокой закончили в 41 году химический факультет Ростовского университета.

Все пять лет мы просидели рядом, успевая совмещать слушание лекций или проведение опытов с постоянным обсуждением «различных идей» (Кокино выражение). Того, что мы слышали от лектора; того, что случалось



или читалось каждым из нас раньше и сейчас; да и каждый прожитый день.

В результате мы стали «героями» насмешливых замечаний в стенной факультетской газете о болтающих на лекциях. Однако преподаватели прощали нам это: мы хорошо учились. И если бы не Кокина бескомпромиссность, то оба мы окончили бы университет с отличными дипломами. На государственном экзамене по основам марксизма-ленинизма Кока из принципа отказался отвечать на один из дополнительных вопросов типа «А что было бы, если бы...», сославшись на отрицательное отношение Ленина к подобным конъюнктивным вопросам. Члены комиссии рассердились и снизили оценку. Это было так несправедливо, что мы пошли к ректору с просьбой разрешить Виткевичу пересдать экзамен. Председатель комиссии профессор Шенкер предложил Николаю написать заявление с просьбой о пересдаче ввиду того, что во время экзамена он был, мол, в болезненном состоянии.

— Вы прекрасно знаете, что причина не в этом,— ответил ему Кока.

Я рассказала об этом потому, что в случае с дипломом в полной мере проявился Кокин характер.

Саня и Кока были близкими школьными друзьями. Еще сильней связала их любовь к путешествиям.

Летом 36 года у них обоих появились велосипеды.

Летом 37 года они совершили велопоход по Военно-Грузинской дороге. Летом 38 года — по Украине и Крыму.

В начале 39 года Кока с готовностью принял предложение Сани поступить заочно в МИФЛИ. Они будут идти рука об руку. Кока — в области чистой мысли, Саня — в искусствоведении.

Летом того же года, поступив заочно в МИФЛИ, друзья, изменив велосипедам, совершили плавание на лодке по Волге. Купив за 225 рублей лодку в Казани, они, захватив с собой вместо удочек серьезные книги, поплыли вниз по Волге, накапливая впечатления и занимаясь предметами МИФЛИ. После трехнедельного плавания добрались до Куйбышева. Здесь им удалось продать лодку за 200 рублей. Таким образом, путешествие обошлось им в 25 рублей.

Дальше — совместные поездки два раза в год (был с ними и Кирилл) на летние и зимние сессии в МИФЛИ.

\* \* \*

И вот Коку мобилизовали. Он был послан на краткосрочные курсы офицеров при Военно-химической академии.

А Саня с 1 сентября начал учить математике и астрономии ребятишек в городке Морозовске. Я преподаю в той же школе химию, основы дарвинизма.

Несмотря на то, что жили мы тогда военными событиями, болезненно переживали неудачи на фронте, да еще зримо наблюдали тянувшиеся через нашу станцию бесконечные эшелоны с эвакуированными, мы смогли увлечься преподаванием. Любили обмениваться своими мнениями об учениках, об их успехах и провалах. Нам imponировали горящие любознательностью глаза ребят, когда они впервые от нас узнавали что-то совсем для себя новое, до того им неведомое. Потому старались вести занятия как можно интереснее, изобретательнее.

По вечерам мы часто сживали возле крылечка дома, где жили, долго беседуя с соседями — мужем и женой Броневицкими. Жили они каким-то своим особым мирком... Все события, происходившие на фронте, воспринимали по-своему. Когда в сводках говорилось об оставлении нашими войсками какого-нибудь нашего города, Броневицкий сообщал нам, какой город «взят».

Постепенно разговоры становились все более откровенными, и мы узнали, что у Броневицкого позади был тот тяжелый кусок жизни, который мужа моего ждал впереди: тюрем! Однако в то время признание Броневицкого не помогло нам понять и оправдать его озлобленности.

В середине октября Саню призвали.

Много лет спустя, в конце 1954 года, Саня напишет:

«Так тяжело было в тот день, 18 октября 1941 г., уходить из дому! Но жизнь моя только с того дня и началась. Никогда мы не знаем, что с нами творится!..»

\* \* \*

Когда началась война, супружеству нашему было год с небольшим.

С Саней мы познакомились в сентябре 1936 года, че-

рез несколько дней после начала нашего первого студенческого семестра.

Как-то на перемене Кока, Кирилл и я стояли, оживленно разговаривая. Я уплетала завтрак, принесенный из дому.

Вдруг ребята, подняв головы, воскликнули: «Морж!»

Вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, на нас несся высокий, худощавый, густо-светловолосый юноша. Он объяснил, что слушает у нас на химфаке лекции по химии. Говорил он очень быстро. Да и весь он был какой-то быстрый, стремительный. Лицо очень подвижное.

Глаза его то перебегали от одного к другому, то с интересом устремлялись на меня. У него потом осталось в памяти, что в первый момент он увидел не все мое лицо. Нижняя часть его была закрыта огромным яблоком, которым я закусывала свой бутерброд.

Ребята много рассказывали о своей школе. Называли сами себя мушкетерами, причем Атосом был Саня, Портосом — Кока, а Кирилл был Арамис.

В их разговорах постоянно фигурировали герои из самых различных литературных произведений, античные боги, исторические личности. Все трое казались мне всезнайками.

Я столько и с таким увлечением говорила дома о своих новых знакомых, что мама предложила пригласить их всех к нам как-нибудь в гости.

7 ноября вечером к нам пришли Саня, Кока и Кирилл и еще трое девушек — студенток нашего университета. Играли в «фанты» и мне выпало исполнить что-нибудь на рояле. Я сыграла 14-й этюд Шопена.

Перед тем как сесть за стол пить чай с маминым угощением, мы все мыли руки в нашей маленькой комнате. Мне сливал из кружки Саня. Тут же сказал: «А ведь ты очень хорошо играешь на рояле».

Маме понравилась вся компания, но больше всех Кирилл, пленивший ее выразительными грустными глазами. Ему и на самом деле жилось не весело. Мать его была долго и тяжело больна и вся забота и о ней и о младшей сестре Наде — ныне известном композиторе — лежала на плечах Кирилла.

Через десять дней — 17 ноября по поводу дня рождения бывшей одноклассницы наших «трех мушкетеров»

студентки биофака Люли Остер устроили новую вечеринку. Там меня познакомили с Лидой Ежерец. Подведя меня к ней, Кира сказал очень значительно: «Наташа, это же Лида». Мы уже много слышали друг о друге. Кирилл говорил ей обо мне с удивлением: «Ты понимаешь, она совсем как мы» — и это было высшей похвалой.

Конечно, мне и в голову прийти не могло, что в 1956 году я получу от Солженицына такое письмо:

«Сегодня — ровно 20 лет с того дня, который я считаю днем окончательного и бесповоротного влюбления в тебя: вечеринка у Люли, ты — в белом шелковом платье и я (в игре, в шутку — но и всерьез) на коленях перед тобой. На другой день был выходной — я ходил по Пушкинскому бульвару и сходил с ума от любви».

В тот же самый вечер Саня Солженицын решает написать исторический роман. А на следующий день — обдумывает его. Я представляюсь ему одной из героинь, которая будет носить звучное имя Люси Ольховской...

В тот год я больше дружила с Кокой. В зимние каникулы он научил меня игре в шахматы, а летом — кататься на велосипеде. Из велопохода по Военно-Грузинской дороге даже написал мне письмо, которое по шутке почты не дошло... Саня мне в ту пору ничего не говорил о своем чувстве. Оно вдохновляло его на стихи. В нем он признавался своему дневнику...

Когда мы были на втором курсе, в университете открыли школу танцев. Оказалось, что из всех нас записались двое: Саня и я. Что же удивительного, что мы стали танцевальной парой?..

На университетские вечера мы тоже стали приходить вдвоем с Саней и танцевали на них только друг с другом. Саня заходил за мной и обычно еще слушал мою игру на рояле. Помимо вещей, которые я разучивала, я часто играла ему, помню, «Серенаду» Брага.

Мне было хорошо так. И не хотелось никаких перемен...

И вдруг 2 июля 1938 года Саня признался мне в любви. Говорил о том, что в своей будущей жизни видит меня с собой всегда рядом. И... ждал ответа.

...Было ли то, что я чувствовала к Сане, любовью?.. Той, ради которой готов забыть все и всех и очертя голову броситься в ее бездну? Тогда я понимала настоящую

любовь только такой (из книг). Теперь я понимаю настоящую любовь только такой (прожив жизнь)...

Но в то время жизнь моя была столь многообразна, что Саня, казалось мне, не мог заменить мне всего, хотя и значил для меня очень много. Мир для меня не заключался в нем одном. А что-то надо было решать, говорить тотчас же. И я уронила голову на скамейку, спрятавшуюся в чаще деревьев театрального парка, и заплакала...

Потом было 5 июля. Концерт известной тогда певицы Тамары Церетели в Первомайском саду. Саня, сдержанный, подчеркнуто вежливый, молчаливый.

Значит, все кончилось?.. И вдруг все вокруг перестало казаться привлекательным. Только бы осталось то, что было!.. Ведь я без этого не могу. Я хочу, чтобы так было всегда! Так, значит, это... любовь?

И через несколько дней я, всегда раньше сдержанная в словах и действиях, написала Сане записку, что люблю его.

И все осталось... Но не совсем так, как было... Постепенно в наши отношения вошло много нежности и ласки. Все трудней было расставаться после свиданий, все тягостнее — не давать воли своим желаниям...

Или соединиться или расстаться — так стало казаться мне. И я предложила, снова в письме, последнее. В ответ Саня отдал мне письмо, которое, оказывается, у него было давно готово.

Он писал, что не мыслит себе меня в будущем иначе, как своей женой. Но боится, что это помешает его главной жизненной цели. Чтобы добиться такого успеха в жизни, на который он рассчитывает, надо... закончить МИФЛИ и как можно скорее; а я тем временем должна кончить консерваторию... Это потребует большой концентрации нашего времени. Но «время может оказаться в опасности» из-за тысячи всяких мелочей, которые неизбежны в семейной жизни. Эти мелочи сгубят нас прежде, чем удастся «расправить крылья». Время! Вот как коротко можно сформулировать основное препятствие к тому, чтобы нам тотчас пожениться. Саня растерян, поэтому и сам мучится.

Перечисляя все то, что не даст нам «успеть расправить крылья», Саня назвал «еще одно потенциальное приятно-неприятное последствие...», имея в виду ребенка.

По этому вопросу взгляды Солженицына неоднократно менялись. В тюрьме он жалел, что у нас нет детей. А позже был долгое время убежден, что людям «с большими задачами» нужны не физические, нужны «духовные дети».

Тогда, в 39 году, мы сговорились на том, что поженимся через год, в конце IV курса.

Саня уже стал студентом МИФЛИ. Теперь он не имел права терять ни минуты. Даже поджидая трамвай, он вынимал из кармана и перебирал самодельные карточки, на которых с одной стороны значилось какое-нибудь историческое событие или лицо, а на другой — соответствующие им даты. Бывало, перед началом концерта или кинофильма я по тем же бесчисленным карточкам спрашивала у него, в какие годы царствовал Марк Аврелий, когда был введен эдикт Каракалы и многое в этом роде или — латинские слова и выражения, тоже по таким же карточкам.

Если не предполагалось ни кино, ни концерта, то наши с ним свидания назначались на десять часов вечера — время закрытия читальни. Саня охотнее жертвовал сном ради возлюбленной, чем своими занятиями!..

Настала весна 40-го года. Для регистрации мы выбрали день 27 апреля. Мой будущий муж любил числа, кратные 9-ти. В этот теплый, но ветренный день, придя из ЗАГСа, Саня подарил мне свою фотографию, сделав на ней надпись:

«Будешь ли ты при всех обстоятельствах любить человека, с которым однажды соединила жизнь?»

На этот вопрос, поставленный мне мужем и судьбой, я постараюсь ответить в своих записках...

Мы никому не сказали о регистрации. А через несколько дней я уехала в Москву на производственную практику.

В Москве я оказалась впервые. Там я познакомилась со своим родным дядей Валентином Константиновичем Туркиным и его первой семьей: с Вероникой — старшей и Вероникой — младшей. Жила я у Вероники Николаевны. Практику проходила в Научно-исследовательском институте красителей, который находился совсем близко от дома на Патриарших прудах, где жила моя тетья.

18 июня я помчалась встречать своего мужа. Он приезжал на летнюю сессию МИФЛИ.

В тот счастливый день мы гуляли с Саней по парку культуры и отдыха. Забрели в Нескучный сад. Тогда мы не могли подозревать, при каких иных обстоятельствах мы опять побываем здесь.— Нас разделит колючая проволока и разговаривать мы будем знаками: он — сидя на подоконнике окна третьего этажа дома на Калужской заставе, где настилал паркет, я — глядя на него из того самого Нескучного сада...

В конце июля мы, по совету дяди, поселились в Тарусе, где и провели свой «медовый месяц».

Сняли отдельную хату у самого леса. Мы не столько бродили по этому лесу, сколько располагались в тени берез, и муж читал вслух или стихи Есенина или «Войну и мир» Толстого, частенько находя сходство между двумя Наташами.

Оба читали и занимались, вместе и порознь. Муж готовил предметы уже для следующего, второго курса МИФЛИ. Я же заполняла пробелы в своем образовании.

Только из Тарусы мы написали нашим обоим мамам и друзьям, что поженились, и получили от них поздравления. От друзей — не очень искренние, по ряду причин... Как я узнала позже от Кирилла, Кока был расстроен, что я вышла замуж за Саню, хотя ни одним намеком не дал мне этого почувствовать. Ведь Саня был его другом. Кирилл был огорчен за меня: опасался, что Саня своей деспотичностью, которая уже тогда была видна его друзьям, подавит мою индивидуальность, не даст развернуться моей личности.

Жизнь доказала мне, что друзья были правы. Но чтобы признаться в этом самой себе, понадобилось долгих тридцать лет.

\* \* \*

В Ростове нас ждал своеобразный «свадебный подарок»: Солженицын стал получать повышенную стипендию. Он получил ее потому, что был не только отличником, но и активистом. Тут — и художественная самодея-

тельность, и выпуск стенной газеты и вообще деятельное участие во всех комсомольских делах.

Поселились мы с мужем отдельно от своих.

Комната в Чеховском переулке, хотя и маленькая, хоть и у сварливой хозяйки, была удобна тем, что жили мы совсем близко и к моим родным, и к Саниной маме, и к двум любимым читальням моего мужа: «тяжке» (читальня Тяжпрома) и «думке» (Дом партийного просвещения), названной так потому, что там ему особенно хорошо думалось.

Первый год нашего супружества и он же — последний перед долгой разлукой мы оба были до предела заняты. После раннего завтрака бежали в университет или, если не было занятий, Саня уходил в читальню, а я оставалась дома готовить еще оставшиеся последние специальные предметы или делать расчеты по курсовой работе.

Встречались мы потом в будние дни у моих родных, где ровно в три часа обедали. Обед не должен был запаздывать ни на минуту! Если же это все-таки случалось, Саня вынимал из кармана знакомые уже нам карточки и предлагал мне его спрашивать.

После обеда я садилась за рояль, а муж снова убегал в читальню. Он продолжал заниматься и дома — часенъко до двух часов ночи, доводя себя до головной боли. Он и понимал, что так трудиться нельзя, и не мог остановиться. Ведь нужно было быть первым, первым! Во что бы то ни стало! Любой ценой!

По воскресеньям мы позволяли себе начать день немного позже обычного. А еще они отличались у нас от будней тем, что обедали мы у Саниной мамы. Этот единственный день был для нее всегда праздником. Все свои способности, всю свою любовь она вкладывала в то, чтобы накормить нас особенно вкусно.

Энергия, ловкость, быстрота, с которыми она делала все, несмотря на не оставляющую ее болезнь (открытая форма туберкулеза), — были удивительны. У нее была такая же быстрая речь, как у сына, только прерываемая покашливанием, такая же живая мимика... Легко было представить, какой она была отличной стенографисткой.

Опасения Солженицына, что женитьба помешает его планам на будущее, отпали. Он увидел, что, женившись, он не только ничего не потерял во времени, а, более того, — выиграл! Не надо было назначать свидания, часто



водить свою возлюбленную в концерты, театры, кино, гулять с ней по ночным улицам и бульварам. Когда она была особенно желанна ему — она оказывалась тут же, рядом. Правда, жена иногда скулила по тому поводу, что поуменьшилось развлечений в их жизни, что гонятие «в гости» или «гости» почти перестало существовать. Муж порой казался мне машиной, заведенной на вечные времена. Становилось страшновато... Но Саня рисовал перед женой заманчивые картины: они год поработают в деревенской школе (заодно он изучит деревню), а летом постараются перебраться в Москву. Он будет кончать МИФЛИ... Она будет учиться в консерватории... Ради всего этого стоит потерпеть...

Несмотря на всю нашу занятость, весной 41 года мы с мужем приняли участие в смотре художественной самодеятельности вузов и техникумов Ростовской области: он — с чтением своих стихов, я — с музыкальными номерами.

В тот год компанией мы собирались редко. Последний раз — в день именин Лиды, 20 апреля...

Лида уже была аспиранткой Пединститута. Кира кончал IV курс Мединститута. Кока, Саня и я через месяц должны были сдавать государственные экзамены.

Сидя на балконе, мы невольно любовались пестрой движущейся толпой на ярко освещенной улице Энгельса. Это была главная улица Ростова — то же, что Невский для Ленинграда: такая же прямая, и по ней так же любила гулять молодежь.

Никто из нас не мог предположить, что через два месяца эта улица по вечерам будет погружаться во мрак, а добрая часть беззаботно гулявшей молодежи наденет военную форму...

\* \* \*

В конце ноября 41-го года муж написал мне, что из них формируют гужтранспортный батальон.

Вместо желанной артиллерии математик Солженицын со своим университетским дипломом оказался... в обозе.

*«Началась война, и Нержин сперва попал в ездовые в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтобы их обрывать или вспрыгнуть им на спину, он не умел ездить верхом, не умел ладить*

*упряжки, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером».*

Время для Солженицына как бы остановилось. Запрягать лошадей, да еще находясь в глубоком тылу... Это — когда пала Керчь. Когда идут «особенно ожесточенные бои на ростовском направлении». Его всегдашние жизнерадостность и оптимизм сменились апатией, безразличием ко всему... Ему хочется только окончания войны, чтобы вернуться к своим и к своим старым занятиям.

«Враг должен быть остановлен повсюду. Этого требует создавшееся обостренное положение», — прочла я в газете «Правда» 27 ноября.

И я у себя в Морозовске — в тревоге и напряжении. Школа закрыта в связи с приближением линии фронта. Я коротаю дни, занявшись самообразованием. История, география, немецкий язык, даже астрономия — ночью выбегаю изучать звездное небо. Вяжу. Делаю краткие записи в дневнике. Жду писем. И жду неведомого чуда...

Оно и в самом деле произошло — 29 ноября диктор Левитан громовым голосом на всю страну объявил, что отбит Ростов, наш Ростов!

В то время, когда в маленьком карманном атласе Сани зашагали красные флажки, у меня в дневнике замелькали восклицательные знаки:

Победа под Москвой! Идут к Орлу! Наступаем! Таруса! (Наша Таруса!) Наро-Фоминск! Новосиль! Керчь и Феодосия! Малоярославец!

А в положении Сани все еще никаких изменений.

«Сегодня чистил навоз и вспомнил, что я именинник, как нельзя кстати пришлось», — написал он в письме ко мне 25 декабря.

Положение обозника угнетает. В тяжелые минуты мечтается об окончании войны. Но нет: «Нельзя стать большим русским писателем, живя в России 41—43 годов и не побывав на фронте».

Я жила ожиданием писем от мужа. Когда писем долго не было, перечитывала более ранние. И каждое утро я с надеждой ждала, не принесет ли почтальон маленький треугольник.

23 марта, сидя после завтрака у окна, я читала «Молот». Улыбающийся красноармеец в шинели и шлеме подошел к окну. Глазам своим не поверила! Как безумная бросилась на крыльцо. Мне казалось, что я упаду в обморок. Столько мыслей пронеслось мгновенно в голове: «Куда едет? Не на фронт ли? Скоро ли от меня уйдет?» — Нет, он едет в командировку и заехал ко мне. Уедет только ночью. Какое счастье! Весь день — сплошной праздник! Подарила Сане фотографию с надписью:

«После полугодовой разлуки смело встречаю новую, даже более длинную — не окончательную».

Ушел в 3 часа ночи и больше не вернулся.

Горжусь своим мужем! Где это видано, чтоб бойца посылали в военную командировку? Его все принимают за штабного работника и он не спешит разуверять.

Эта командировка в штаб Сталинградского Военного округа решила судьбу моего мужа.

Его диплом произвел магическое действие. Он тут же получил направление на артиллерийские курсы.

\* \* \*

В феврале и марте на фронте царило относительное затишье.

Зато в нашей с мужем судьбе начались перемены. Саня распростился со своей «лошадиной ротой», а я вернулась в Ростов. Идя рядом с повозочкой, на которой мальчик катил мой чемодан, я не переставала улыбаться. Меня не пугали ни выбитые стекла, ни разрушенные постройки, ни сгоревшие здания.

Через несколько дней я уже работала лаборанткой на кафедре физической химии РГУ.

Мы занимались важными вещами — изготавливали запалы. Сами делали пробирки из стеклянных трубок, калибровали их, заполняли содержимым, запаивали. А потому я имела полное право похвастаться мужу:

«...работаю под лозунгом: «Смерть немецким оккупантам!». Поэтому можешь не зазнаваться и гордись своей женой!»

Ростов в то время был прифронтовым городом. Ведь немцы находились всего лишь в 60 км от нас. Таганрог был в их руках.

Каждый 4-й день весь химфак отправлялся на трассу — рыть противотанковые рвы. Трамваи в Ростове не ходили. Приходилось идти по городу пешком до Сельмаша (через всю Нахичевань), а потом — по степи. На ходьбу туда и обратно уходило часов 5, да часов 7 работали лопатами.

Мне, никогда не отличавшейся крепким здоровьем, сначала нелегко давалось то, что было общей долей и общим долгом всех, кто оказывался в прифронтовой полосе. После первой трассы я простудилась, после второй — простуда перешла в страшный грипп.

Но скоро к работе на трассе привыкла. Втянулась. Особенно, когда весна вступила в свои права. Повсюду была молодая травка, начинающие зеленеть деревья. Здоровый, чистый воздух, на котором физическая работа казалась нетрудна!..

Тревожило другое — я не знала ничего о Сане.

И вот Таисия Захаровна, — Санина мама — такая же экспансивная, как я, прибегает 2 мая ко мне на работу. По ее лицу вижу, что известие радостное. Таинственно улыбаясь, она открывает сумочку и протягивает мне... долгожданный треугольничек.

— Откуда? — не удержалась я.

— Из Костромы...

— Как он туда попал?

Боже мой, какое счастье! Саня — в училище, уже курсант. И пробудет там не каких-нибудь полтора-два месяца, а по крайней мере до 1 августа.

Все страхи разом кончились. Стало легко-легко на душе. И жизнь — такой ко мне доброй...

Не прошло и полумесяца с момента прибытия Сани в училище, как он уже утомился от необычной для него жизни.

Даже то, что у него для книг был специальный портфель, командир назвал «студенческой распушенностью» и велел, чтобы портфеля у него не было.

Зато особое внимание обращается на заправку постелей, на то, как уложено одеяло и подушка, как надета пилотка, как вычищена и вымыта кружка — тысячи обязательных мелочей надо выполнить за несчастный часик «свободного» времени, который удается выкроить за день.

Раза 3—4 в день приходится мыть и чистить сапоги. Чуть пятнышко — наряд.

Саня жаловался, что окружают его по сути дела мальчишки. Впечатления однообразные.

Что же касается жалоб мужа на нехватку свободного времени, то они вызывали у меня недоумение. Ведь это же военное училище, да еще сроки пребывания в нем сильно сокращены войной. Надо перестроиться! Кончится война — вот и наступит время, когда каждый, в том числе и мой муж, займется тем, чем хочет. А пока не мешало бы ему подальше запрятать свою страсть к самообразованию...

Странная все-таки вещь — война. Саня уезжал на фронт, а живет в глубоком тылу. Учится, собирается писать «Шестой курс» — о студентах на войне. А мы, оставшись дома, узнали войну раньше него. Фронт — вот он, рядом, немногим более полусотни километров до него. И мы все больше и больше начинаем это чувствовать. По ночам просыпаемся от страшного грохота наших зениток, слышим завывание немецких самолетов, удары от падающих бомб...

Все чаще бомбежки. Уже не только ночью, но и днем...

В одну из таких бомбежек было разрушено крыло физмата университета, где тогда помещались наши лаборатории. Все, что осталось от них, были два ключика, которые беспомощно болтались на пальцах у нашей старшей лаборантки Веры. Не стало ни нашего великолепно-го актового зала, ни библиотеки, ни многих лабораторий, ни... наших документов, которые мы, спускаясь в бомбоубежище, легкомысленно оставили в ящиках наших столов.

Разрушен дом на Чеховском, где мы снимали с мужем комнату. Нет ни здания школы, в которой я училась, ни моего музыкального училища...

И все же это было не самым страшным. Маленькая бумажка — «Эвакуационный лист», которую мы держим в руках, означает, что наш город... будет сдан врагу...

Мы уезжали ночью. Поднялась жуткая гроза. Едва проехали железнодорожный мост, как гудки возвестили о прибытии немецких самолетов. Поезд остановился. Зенитки били прямо возле нас, а через некоторое время мы увидели столб дыма и огня над Ростовом, опять в районе Буденновского. Под Кушевкой стояли

11 часов. Мы слышали разрывы бомб. Немец несколько раз разрушал путь. В Крыловской мы увидели гигантскую воронку и искалеченные вагоны санитарного поезда.

Говорят, что бомба попала в Ростовский железнодорожный мост после того, как мы его миновали.

Чем дальше отъезжали мы от нашего обреченного города, тем меньше давала себя чувствовать война. Что с теми будет, кто остался?..

В Кисловодске удивительно тихо, так красив кисловодский парк, такой чудесный аромат по всему городу... Просто не верилось, что где-то были бомбы, снаряды, пожары...

В Кисловодске мы с мамой жили в семье маминой сестры Е. К. Владимировой, моей тети Жени. Муж ее был в армии. Старшая дочь Таня, моя ровесница, работала врачом в госпитале. Младшая, Надюша, училась в школе.

Мы с мамой постепенно оживаем. Все, что было, кажется бредом больного воображения.

В курзале давала спектакли труппа Новочеркасского театра. Мы посмотрели «Даму с камелиями», поплакали над горестной судьбой Маргариты...

А среди ночи с 4 на 5 августа мы были разбужены Таней, прибежавшей из госпиталя с дежурства. Мы едва понимаем, что это она такое говорит нам. — Железнодорожная связь с Минводами прервана. Мы — отрезаны. Утром госпиталь эвакуируется. Идут пешком. С ней вместе можем эвакуироваться все мы.

У тети Жени сомнений нет. Она и Надя пойдут вместе с Таней. Тая, ее невестка, — тоже.

...А как быть нам с мамой? Какое-то мгновение я колеблюсь. Куда? Из Ростова мы знали, куда ехали. А теперь?.. В неизвестность? Без средств?.. Немцы могут и не прийти в Кисловодск. Ведь они вот-вот должны быть остановлены.

— Но ведь, оставшись, ты расстаешься с Саней? — громко и возмущенно сказала мама. Ее слова как бы отрезвили меня. Я вскочила и бросилась собирать то, с чего начинала и в Ростове: дорогие фотографии, Санины письма и стихи, особенно любимые мной его рассказы, свои дневники... Что поступила так — никогда не раскаивалась. Спасибо маме!

О том, что было потом, коротко повествует мой дневник. Это было мое первое пешее путешествие по Кавказу. Шоссе Пятигорск — Нальчик. Широкое, довольно прямое, без крутых подъемов. Гор вблизи нет. Только утром во всей красе проступил вдали снеговой хребет. Я писала:

**6 августа.** Вышли пешком из Пятигорска вслед за подводами. Прошли за день 15 км. Тащить вещи безумно тяжело. Авария! На продуктовой телеге поломалось колесо. Стали сбрасывать вещи с других двух телег, чтоб на них переложить продукты. С трудом всунули наши вещи. После первой трудности у нас с Надей невиданная энергия. Вещи потеряли свою тяжесть. Ночью холодно, днем жарко. Привалы у ручьев. Пьем воду, купаемся, даже голову моем. Несмотря ни на что, романтично.

**7 августа.** Постепенно одну за другой укладываем вещи на подводы, даже драгоценные рюкзаки.

34 км за день. Рано вышли — в 6-м часу, днем отдыхали.

**8 августа.** Чтобы не отстать, держимся за подводу. Отстав на шаг, с трудом невероятным догоняем.

Иду и вспоминаю сказку Андерсена «Русалка». Поздно вечером в Нальчике. Ночуем на улице...

Как выяснилось позже, примерно в то время Кирилл Симонян пришел туда же прямо из Кисловодска через горный перевал Юцу. (Из Ростова он тоже уходил пешком.)

Из Нальчика ходят поезда...

А из Баку ходили пароходы. Только редко... И пасть на них было нелегко. А продукты кончались.

Хлеб мы ели так экономно, что не пропадало ничего. Высушив в мисочке набравшиеся крошки, мы потом разминали их, смешивали с сахаром, которого у нас еще немного осталось, подливали воды — и готова была «сахарная каша». Плохо было только то, что те две ложки, которые доставались каждому, не могли насытить наши опустевшие желудки.

Однажды, когда в мисочке на солнце сушилась очередная порция хлебных крошек, к нашей группе на пристани подошел какой-то представительный военный. Ей-богу, за всю жизнь я, вероятно, не видела у своей тети Жени таких сияющих глаз.

Это был Павел! Таин муж.

Оказалось, что воинская часть, в которой служил П. Владимиров, во время нашего отступления докатилась аж до Баку и Таю узнал... шофер из этой части.

Радость — радостью. Но Павел оказался еще для всех нас добрым гением. Больше мы не голодали.

На той же бакинской пристани я столкнулась как-то лицом к лицу с Милей Мазиным, однокурсником Сани.

Миля, как и Саня, был ограниченно годным к военной службе. Он женился почти тогда же, когда и мы. Тоже преподавал математику в начале войны в деревне. И вот теперь он эвакуируется с женой и дочуркой, которой был всего год.

Мы уехали раньше. О Миле я потом долго ничего не буду знать.

Всю нашу мучительную дорогу мне не дает покоя мысль, где же Саня. Я пишу ему почти без надежды, что письма дойдут. Очередную весточку я послала мужу из Ташкента. Бумаги не было. Я написала ее на бланке денежного телеграфного перевода:

«Дорогой мой!

Где ты?..

По всей вероятности, мы остановимся пока в Алма-Ате. Что дальше — неизвестно. Живу надеждой, что ты меня разыщешь».

В ночь с 6 на 7 сентября мы приехали в Алма-Ату. Ночь провели в привокзальном садике под дождем. Днем нашли квартиру и занялись поисками работы.

Мой дневник:

**19 сентября.** Шла за хлебом одна и так живо нарисовала картину встречи с Саней, что всплакнула, осознав нереальность этого. Должны 23-го уехать.

Новороссийск давно сдан. Бои на окраинах Сталинграда.

**21 сентября.** Получила известие о том, что Саня в Костроме до 15.IX.

...Ура! Значит, еще в безопасности! Значит, получил мои посланные «в пустоту» письма! Значит, не растерялись!.. Но 15-е уже позади. Писать-то некуда! Продолжаю кратко заносить события в дневник:

**23 сентября.** Уехали в Талды-Курган.

**30 сентября.** Почти устроилась в техникум.

**2 октября.** Прочла первые лекции по неорганике.

Бои в Сталинграде, Моздоке и Новороссийске.



Рискнула все же написать Сане в Кострому. Если уехал, может, перешлют...

**13 октября.** Телеграмма от Сани из Костромы! Ответила телеграммой.

Вот вам и тринадцатое число! Оказывается, оно счастливое!

«Дорогой мой! — откликаюсь я. — Нужно ли описывать тебе мою радость, мое удивление, когда мама привезла из Талды-Кургана мне твою телеграмму. Это после 3,5-месячного перерыва. Как я счастлива, что ты до сих пор в Костроме... Сейчас бегу на работу в техникум, где читаю неорганику... Ежедневно 4—6 часов, заменяю отсутствующих преподавателей... Пиши, пиши».

И муж ответил большим письмом, из которого я узнала обо всех его волнениях минувшего лета.

Он писал о черной пустоте июля и августа, когда весь изошел в тревоге за меня. После этого ему казалось неизмеримым счастьем мое пребывание в Казахстане — «ибо ты жива, ты осталась для меня, мне есть ради чего жить и воевать...» Муж вспоминал, что в июле были моменты, когда он считал, что ему не для чего больше жить. И он хотел тогда «бросить к черту учебу и проситься на Кавказ». Утренние сводки трясли его «как электрический ток».

Саня спрашивал, сохранилась ли у меня хоть одна его карточка. Вообще даже страшно спрашивать, писал он, «что у тебя сохранилось, что вы могли донести, идя пешком до Нальчика?»

Но через некоторое время Саня все же спросит, что осталось и из его тетрадей и прочих писаний в Ростове. «И еще один смешной вопрос: где зачетная книжка МИФЛИ?»

Смешно? Может быть. Но понятно. МИФЛИ — один из путей в литературу.

Пока ко мне шли эти письма, я прочно утвердилась в техникуме. В конце октября на время уборки сахарной свеклы занятия прервались; работала со студентами на поле. В перекур мы с аппетитом грызли крупные сахарные свеколки... Снова я учительствую. Еще раз убеждаюсь, «насколько интересней, живей и увлекательней преподавать!»

Приближаются Санины любимые ноябрьские праздники.

«Летне-осенняя кампания заканчивается. С какими же результатами?» — задает Саня себе вопрос и продолжает: «Их подведет на днях в своей речи Сталин. Но уже можно сказать: сильна русская стойкость! Два лета толкал эту глыбу Гитлер руками всей Европы. Не столкнул! Не столкнет и еще два лета!..

Что принесет нам эта зима? Если армия найдет возможность повторить прошлогоднее наступление, да еще в направлении Сталинград — Ростов, — могут быть колоссальные результаты. Обратное взятие Ростова — достаточный итог для всей зимней кампании — для фрицев на Дону, для фрицев на Кавказе, для фрицев в Берлине».

У Сани дело идет к выпуску.

«На нас уже написаны аттестации, подведены все итоги — сейчас документы отсылаются в Москву».

И вот наконец:

«Родная Наташенька!

Пишу впопыхах, со станции Кострома. Только что зачли приказ о выпуске. Частично уже обмундировался, частично дообмундируюсь завтра. С Костромой все счета покончены.

Твой лейтенант»

## Ф р о н т

В начале ноября 42-го года мой муж прибыл в Саранск.

В этом городе, который Саня характеризовал, как «три домика на ровном месте», формировался 796-й Отдельный артиллерийский разведывательный дивизион — ОАРАД. Командиром дивизиона был назначен Пшеченко, заместителем по политической части — Пашкин.

Солженицына назначают заместителем командира батареи звуковой разведки. И почти тотчас же командиром батареи.

В его руках — судьба нескольких десятков людей. Он должен обучить их, организовать, расставить по местам. Он чувствует, как «мудрость и опыт в воспитании и распознании людей отлагается каким-то осадком, пластом.»

12 января объявлено об освобождении Георгиевска. Саня шлет маме телеграмму. Но ответа долго нет. Оказывается, Таисия Захаровна в октябре переехала из Георгиевска в Ростов, где ее встретили развалины на месте того дома, где жила она на Ворошиловском. Случайная комната на четвертом этаже. Таскание вверх по лестнице воды, дров. Голод. Все это — при давнем туберкулезе...

Саня боялся за маму из-за бомб, снарядов, немцев. А «с этой стороны — от туберкулеза — как-то не ожидал, забыл ожидать».

Только в конце мая, находясь уже в действующей армии, Саня узнает, что мать в очень тяжелом состоянии снова уехала в Георгиевск, к сестре.

Даже почерк показался Сане не совсем ее. В Георгиевск он шлет маме письма, деньги, справку из части, фотографию... Может быть, все это поможет Таисии Захаровне поправиться?.. Она получила вести от сына... Помощь от него... Узнала, что он жив.— Ведь это так много!..

У нас в Талды-Кургане — свои трудности, свои утешения. Мне кажется почти что счастьем, что в нашем распоряжении 6 метров пола, что ящик с мукой хозяев может служить мне столом, а два чемоданчика — заменять стулья. На этих 6 метрах — мешки с соломой, которые служат нам вместо кроватей.

«Обрастаем хозяйством». Все купили себе шахматные доски, куда складываем бумагу, письма, тетради. «Дома 4 доски, прямо хоть устраивай турнир,— делюсь я с Саней.— Продавец был в восторге, что мы понакупили у него эти доски — никто не брал».

Для приготовления незамысловатой еды у нас была всего одна треснутая чугунная кастрюля да два солдатских котелка. Тарелок не было: каждый получал свою долю в кружке.

Но казалось, что так и надо. Мы примирились со скудностью обстановки, недоеданием. Привыкли и к тому, что наша одежда плохо защищала нас от сильных морозов. Еще и замечали красоту природы... Например, причудливо замерзшую горную речку, к которой ходили брать воду из проруби, величавый Тянь-Шаньский хребет вдали...

Настроение наше больше всего определялось сводками Информбюро да письмами от дорогих нам людей.

Военные события не просто радуют — захватывают. Прорвана блокада Ленинграда. Окружение немцев под Сталинградом. Победы на юге...

В середине февраля освобожден наш Ростов!

Саня уже в это время не в резерве. 13 февраля они выехали на фронт. Поезд несет их на север. Ярославль. Бологое. А потом — Осташков, река Ловать недалеко от Старой Руссы.

В резерве Сане не писалось. А теперь, когда попал в прифронтовую полосу, «идеи сами просятся на перо».

Первая редакция рассказа «Лейтенант», начатого в Саранске, вскоре закончена. Переработан. Одному бойцу батареи поручается его переписывать, чтобы можно было отослать его в первую очередь Лиде, которая переехала в Москву и учится в аспирантуре МГУ.

Из Саранска Саня повез с собой походные стол и стул. И вот теперь, в нескольких километрах от переднего края, среди талой воды и остатков рыхлого снега, на лесной полянке он располагается за походным столиком: пишет письма, занимается...

Но на северо-западе Сане не суждено воевать. В апреле их перебрасывают на центральный фронт.

В перерывах между учениями, отзанимавшись батарейными делами, Саня занимается писательством. «Жадность на писание у меня сейчас невероятная», — читаю я в его письме.

Местонахождение Сани было для меня загадкой, а от Коки я как-то получила открытку, на которой вместо номера полевой почты указан был самый обычный адрес: Орловская обл(ась), Новосильский р(айо)н, деревня Чернышино.

Очередную открытку Кока заканчивал все тем же вопросом:

«Что слышно от Ксандра?»

...Мог ли он думать, что ответ он получит раньше, чем я открытку?..

7 июля мне пришли два совершенно одинаковых воинских письма: с одинаковыми штампами, с одним и тем же бойцом, бросающим гранату.

Только адрес на одном написан Саниной рукой, на другом — Кокиной. Встретились!!!

Судьба решила шутить без конца. Оказалось, что друзья жили бок о бок, ходили по одним и тем же проселочным дорогам, по одному и тому же мосту.

И вот Кока живет у Сани, как на курорте, лежит в тени деревьев, слушает птичек, потягивает чаек и курит папиросы. «Все выговорено, выспорено и рассказано за это время».

А вскоре была получена общая фотография Сани и Коки. У Сани еще кубики в петлицах, на Коке — погоны со звездочками.

Порою главная тема в письмах мужа отнюдь не война, а литература. Его литературные упражнения. Я узнала,

что наряду с сюжетами двух новых рассказов у него в голове выстраивается «чудесная третья редакция» «Лейтенанта».

Даже письма могут ей помешать. Саня спрашивает, какие письма были бы приятней мне: короткие частые или длинные редкие. И сам же решает, если, мол, писать часто, то когда же он будет работать над своим новым рассказом? «Ты хочешь, чтобы я стал писателем или не хочешь?»

Я успокаиваю себя. Раз у него есть возможность так много времени уделять сочинительству, значит, жизнь спокойна и не так уж опасна.

Узнав от меня, что наш сосед по Морозовску Броневицкий во время немецкой оккупации был «городским головой», Саня откликнулся тотчас же. Его всего наполнило и перевернуло известие о Броневицком.

Какой богатый литературный материал! Саня считает, что для него обеспечен на этом деле «блестящий рассказ» о предателе. У меня была такая тема, пишет он, но мне нужен был человек: какие они? По его словам, имея человека во плоти и крови, он имеет и рассказ. Остается написать его.

И все-таки во многом Саня еще остается мальчишкой. Хоть и не без юмора, но с гордостью сообщает о своей новой прическе, идею которой он «претворил в жизнь в течение трех дней», о том, что начал курить. Если это помогает мне писать, так отвыкать не надо? Твое мнение?

Зная, что от моего мнения все равно ничего не зависит, я попыталась хотя бы выговорить за свое согласие право... красить губы, но натолкнулась на бетонную стену. Муж твердо был за «естественность».

С лихостью заправского вояки Саня пишет о водке: «Представь себе, веселит, хоть и 100 грамм всего. Я их — кувырк!..»

Впрочем, восторгов по части алкоголя хватило всего на три строки. Абзац закончился трезвым выводом: «А в общем к чертовой матери! Каждый день пить не буду, это вредно. Буду менять на сахар».

Впрочем, ни курение, ни водка меня не волновали. Беспокоило другое. Офицерство, командирская должность начинали отрицательно сказываться на характере Сани.

Солженицын писал — и не без видимого удовольствия, — что не успеет он доесть кашу из котелка, как несколько рук протягиваются его помыть, а с другой стороны несут уже готовый чай. Он не успевал наклониться за упавшей на пол вещью.

Но все это отступило на задний план, как только мы узнали, что после долгих «ничего существенного не произошло» — в начале июля начались бои на двух направлениях: Орловско-Курском и Белгородском.

И вдруг в самом огне битвы — третья встреча друзей... Кока написал о ней коротко:

«9.7.43. Мимоездом я был у него. Прокалякали ночь напролет, а с рассветом я двинулся к себе домой. Саня за это время сильно поправился. (...) Все пишет всякие турусы на колесах и рассылает на рецензии».

Саня пишет мне о «великих боях», о которых он думает, что они? Перевернут еще одну страницу истории или не войдут даже в сводку Информбюро? Настроение у лейтенанта Солженицына — то сверхсильное, шагающее через себя, то безразлично-тупое, то напряженно-острое.

\* \* \*

Я же в начале августа была послана со своими студентами на работу в колхоз, где мне пришлось немало повоевать с тамошним начальством, чтобы обеспечить своим ребятам мало-мальски приличные условия жизни и питания. Я была старше своих учеников, но, проводя все дни с молодежью, почувствовала себя совсем юной. «...Близость с ребятами, — писала я мужу, — сделала меня прежней резвуньей-девочкой. Вспомнила с ними все наши студенческие игры».

Особенно поднялось мое настроение, когда к нам туда дошли вести о взятии Орла. Я тотчас же отправила письмо:

«...наши на улицах Орла. А где ты?»

Как раз в эти дни Саня был в Орле.

15 августа моему мужу был вручен орден Отечественной войны II степени.

Какими словами воскресить неповторимое настроение тех недель! Ведь всего год прошел со времени, когда, раскрывая газету, мы мечтали о том, чтобы в сводках

не было названий городов. Потому что тогда их только сдавали.

А теперь мы чувствовали себя несчастными, если не находили сообщения о новых и новых освобожденных нашей армией городах, форсированных реках. Движение вперед уже чуть ли не вошло в привычку. На что теперь жалуется в письме лейтенант Солженицын? На вынужденные остановки... На то, что нет стрельбы с утра — за ночь немцы откатились на новый рубеж.

С Кокой пока не виделись. Оба надеются и ждут. Пока что вместо этой желанной встречи произошла другая — со своим... учеником. К Александру привели старшего сержанта, отставшего от части. Родина? Ростов. Где жил? На Пушкинской улице. До какого года? До августа 41-го года. А потом? Эвакуировался в Морозовск. (!) Где там жил? На Батрацкой улице около ремзавода. Учился, работал? Учился. Где? В Луначарке. В каком классе? В девятом (в его классе!!!) Фамилия? Попов.

И тут Сане стало ясно, почему с первого взгляда лицо паренька показалось таким знакомым. «В моем классе», — Саня в письме даже дал разрядку! — Сидел во втором ряду от двери, шалопай был редкий, на уроках появлялся раза два в неделю. А парень не помнил ни своего наставника, ни меня — его супругу. А чету Амплиевых, Семочкина да Петра Ивановича почему-то помнил.

Саня очень рассердился на этого «редчайшего шалопая», каким парень остался и на войне. В поведении и манерах парня «столько распушенности, в его словах столько фатовства, что, как мне ни приятно было бы иметь в своей батарее земляка и своего ученика, я, кажется, устрою его... в контрразведку. Тогда он, может быть, меня запомнит!»

Я уже чувствую: если в письмах много говорится о литературе, о послевоенных планах — значит, в эти дни на фронте было спокойнее. И из писем я узнаю, что Саня «начинился динамитом» от книги об академике Павлове. Вот бы удивился комбат Солженицын, скажи ему тогда, что полтора десятка лет спустя он будет преподавать в том же здании, по коридорам которого бегал некогда мальчонка-семинарист Ваня Павлов. Солженицыну им-



понирует единство цели в жизни великого ученого и он делает вывод и для себя, что нужно перестать кидаться на все интересное — математику, философию, психологию и педагогику, и иностранные языки, и политэкономия. Но пока что, однако, его продолжает интересовать все. Но, конечно, главное — писательство.

Почти окончен рассказ «В городе М» — по впечатлениям отчасти морозовским (о Броневицком), отчасти уже из наблюдения за освобожденными маленькими городами. Саня старается заезжать в каждый освобожденный город, даже если он в стороне от его основного маршрута.

Несколько спокойных дней он использует для работы над рассказами. Кое-что получается. Саня собирается их переслать Константину Федину: во-первых, верный ученик Горького, во-вторых, старая симпатия Сани (война помешала узнать его мнение о «Заграничной командировке» и «Речных стрелочниках»), в-третьих, Лида недавно очень ценно написала о его эрудиции и художественном вкусе.

С большим трудом Сане давался рассказ «В городе М». Перед концом какой-то срыв, и все время тон и образы казались фальшивыми, надуманными, слова — неподходящими.

\* \* \*

Занятия в техникуме начались у меня в середине октября. Жизнь моя оживилась и неожиданно стала интересней, чем в предыдущем учебном году.

За день до начала занятий меня позвал завуч, начал с того, что пропел мне дифирамбы, а кончил тем, что навязал мне математику. После того, как я уверенно вела себя, будучи ассистентом на тригонометрии, директор и завуч решили, что я чудесно знаю математику. Я пришла в свою любимую группу (II курс) и заявила: «Ну, теперь после «органических кислот» переходим к... «прогрессиям».

Мне казалось, что я нашла свое настоящее призвание в преподавании. Мне работалось интересно и легко. И это замечали даже ребята.

Однако Саня начинает настойчиво советовать нам с мамой двигаться в Ростов. Пишет: «Техникум дает гроши; урожай с огорода можно превратить в деньги, Зина Иванова работает в отделе облоно, иногда от секретарш зависит не меньше, чем от главы учреждения».

Вскоре получаю еще одно письмо от мужа: «Мы стоим на границах 1941 года,— восторженно пишет он.— На границах войны Отечественной и войны революционной».

В другом письме он писал мне о «войне после войны».

Я знала, что этими своими мыслями он делился не только со мной, но и в переписке с Николаем Виткевичем.

Как разнится все это с тем, что напишет Солженицын в наши дни. «Август четырнадцатого», да и «Архипелаг»! Теперь он бранит Рузвельта и Черчилля за то, что они... не начали «войну после войны» против СССР.

\* \* \*

Я настолько почувствовала себя «математичкой», что даже согласилась на один подвернувшийся мне частный урок:

«У меня есть новости: получила один урок — должна с одним способным мальчуганом пройти... математику за VIII класс. Первый урок был для меня неожиданный и я пришла в дикий ужас от того, что у меня слишком способный ученик — все ему подавай поинтересней, да потрудней. Мама считает, что я очень скромное назначила вознаграждение. Zehen rubel в час, но у меня духу едва хватило и на это».

И, конечно, когда мне не хватало собственной математической мудрости, я обращалась за помощью ...прямо на фронт: Саня в письмах обучил меня обращению с логарифмической линейкой. Я прекрасно разобралась, но... в Талды-Кургане не было линейек.

А однажды на фронт пришло письмо с, вероятно, единственной в своем роде просьбой — «реши пример, который я решить не могу, директор — профессиональный преподаватель математики — решить не может, и вообще никто в Талды-Кургане не способен решить».

Задачу Саня, конечно, решил. Правда, в тот самый день, когда я отослала письмо и возвращалась домой по льду, слякоти, грязи и все думала об этом злосчастном примере, я и сама сообразила, как он решается.

Что же касается другой, куда более важной просьбы, о присылке мне рассказов, то ее выполнить было труднее.

Саня спрашивал, кто же будет все это переписывать. Он нашел в батарее только одного подходящего бойца, но ему надо делать свое дело, и после его переписки все равно приходится многое исправлять. На будущее (на время глубокой, спокойной и обширной работы) ясно: Сане нужен будет помощник-секретарь, не только просто толковый и чувствующий, но привыкший к Саниной манере писать, ставить знаки препинания, логические ударения, паузы и т. д. Саня делает мне комплимент, что ежели, мол, я не была бы такой яркой индивидуальностью, он посадил бы меня за это дело. Но «мешать моему развитию никогда и ни за что» не хочет. Придется в свое время поискать еще человека.

Саня не предполагал, что со временем он «усадит» и меня — «толкового человека, привыкшего к его манере писать» — и второго такого, и третьего, и... впрочем, об этом в своем месте.

Разумеется, Саню занимают, когда речь идет о будущем, и более высокие материи. Особенно, когда он встречается с Кокой. После каждой из таких встреч я получаю подробный отчет.

В последние дни 1943 года у всех на устах была Тегеранская конференция. Наша печать пользовалась формулировкой в западной манере: «совещание трех».

Естественно, что «изумительная» встреча Сани с Кокой и беседа о послевоенном сотрудничестве и «войне после войны» были окрещены «совещание двух». «Более подробные решения пока не публикуются», — писал Саня, но сообщал о самом важном, о том, что Кока сейчас стал ему бесконечно ближе Кирилла. С Кокой его связала общность содержания и общность будущей практической деятельности «в разрезе партийно-государственном».

Опять непонятный намек на какие-то неизвестные мне планы...

Естественно, что и литературные мнения Коки стали весомее. Саня читает ему все только что вышедшее из-

под пера: «Лейтенанта», «В городе М», «Письмо № 254». Немножко завидно. Мне присылается далеко не все.

Зато передо мной открываются блестящие перспективы.

Мне уготовано место в основной серии романов Солженицына, уготовано с 36-го года. Я буду коренной жительницей Петербурга, а в августе 1917 г. у меня неудачно закончится первый крупный роман и т. д., чего мне знать раньше времени не положено.

Саню тревожит судьба ранее, до войны, им написанного, заготовок его к будущему роману:

«Джемочка! А где мои велосипедные записки? А где план «Русских в авангарде» и несколько первых глав (на больших белых листах) — они ведь были у тебя? И этюд к «Черному в Красном» — встреча Северцева и Ольховского? Неужели утеряны? Если в Кисловодске, то у кого? (...) А еще в Ростове у Марии Денисовны мои стихи. Как это все собрать в одно место?»

Когда я ответила, что тезисы к «Русским в авангарде» у меня, как и тетрадь с тремя рассказами, а некоторые главы оставались в Кисловодске, Саня писал: «Великое тебе спасибо, что ты сохранила мне три основных рассказа — это одно из самых ярких проявлений любви, которого я никогда не забуду. Ведь ты шла пешком и несла это на себе!»

Чем тише на фронте, тем больше в письмах о литературе. Чувствуется, как волнуется Александр в связи с отсылкой его произведений в Москву. Он даже пишет Коке (и сообщает мне об этом), что если Федин убедит его в отсутствии у него литературного таланта, он круто порвет с литературой («вырву сердце из груди, растопчу 15 лет своей жизни»), перейдет на истфак, но свой вклад в ленинизм все равно сделает.

В другом письме Саня пишет о своих надеждах. Его задача сейчас: получить поддержку от Федина, Лавренина, Тимофеева и других (нескольких), им подобных: «да, у вас есть литературный талант», «да, написано хорошо», «да, сделано крепко».

А затем, может быть, идеологически объединившись с некоторыми из них («ибо поддержка им не менее важна, чем нам их поддержка»), — писать, писать и писать! Все свое будущее творчество он рассматривает как сильный вклад в развитие ленинизма.

Уехали мы с мамой из Казахстана гораздо позже, чем намеревались. Перед нами выросло совсем неожиданное препятствие — мамина болезнь.

Добираюсь за пропуском до станции Уш-Тобе и узнаю, что придется ждать здесь 3—4 дня. Но вот, наконец, у меня в руках маленькая беленькая бумажка с красной полоской. Сколько из-за нее было мучений. Сдала заявление на литер. На пропуске дата — действителен до 25 марта. К этому времени уж, конечно, буду дома.

И вдруг заболела мама. Утром была совершенно здорова, а к вечеру 40,1. О поездке и думать нечего. Одно утешение — а если бы это случилось в дороге! Но маме оно не помогает. Температура держится. Подозрение на малярию. Какое счастье, если это действительно малярия. А вдруг я завезла из Уш-Тобе сыпной тиф?.. Так идут дни. Хинин не помогает. Болит сердце.

Наконец температура падает. Мы снова собираемся ехать. Новые хлопоты: новые пропуска и билеты и... к вечеру снова около сорока.

Но вот, наконец, мы с мамой живем на вокзале станции Уш-Тобе среди таких же, как мы, и тщетно пытаемся несколько дней подряд сесть на проходящие, переполненные поезда, которые довели бы нас до Алма-Аты. Наконец, для засидевшихся в Уш-Тобе был выделен вагон. Все старались попасть в него, отталкивая друг друга.

Мы с мамой ехали в тамбуре. К счастью, до Алма-Аты ехать надо было всего лишь несколько часов. Мы приехали туда в тот же день, когда Саня, получив отпуск, приехал... в Ростов, где его ждало разочарование.

Спустя месяц я застаю только большое письмо, где речь шла о моей поездке к нему на фронт.

Десять суток вез нас с мамой поезд из Алма-Аты в Москву, из Казахстана в Россию, из Азии в Европу.

Мама спала мало, нервно, тревожно, то и дело просыпаясь, чтобы проверить, целы ли наши вещи.

Только последнюю ночь, измучившись за долгую дорогу и радуясь, что мы все благополучно довели, мама крепко заснула. А утром узла с самыми ценными вещами

не было. Оказалось, что какой-то мужчина всю ночь просидел на нем и, убедившись, что хозяин не забеспокоился, на рассвете сошел с ним в... Рязани.

Таково было наше первое знакомство с этим городом.

Мама плакала, что с ней бывало очень редко. Нужно было пережить войну, эвакуацию, уходить пешком от немцев, чтобы понять, что означала эта потеря! В узле была вся мамина одежда.

Мама не была в Москве с 1913 г. В 1908-09 гг. она там училась на Высших женских курсах.

Со своим братом В. К. Туркиным, кинодраматургом, профессором киноинститута (ГИКа), мама не виделась около 30 лет. И они почти не переписывались.

Как ждала мама встречи с ним! И вот ей нечего даже надеть!.. Впрочем, выход нашелся!—Мама в то время была так худа, что ей оказалась впору моя блузка.

Остановились мы у чудной Вероники Николаевны, жившей на Малой Бронной.

Дочь ее, маленькая Вероничка, была тогда еще школьницей 16 лет. Она носила в ту пору две густые косы каштановых волос и обещала стать очень хорошенькой.

Ее отец разошелся с матерью, когда девочке было всего 4 месяца. И хотя жил он на Страстном бульваре, всего в 15 минутах ходьбы от Патриарших прудов, ни разу с тех пор не видел своей дочурки.

Встречены мы были со всем радушием и приветливостью. Между мамой и Вероникой Николаевной не было конца разговорам.

Тридцать лет не видела мама своего брата Валентина. За это время она однажды получила от него телеграмму — известие о рождении дочери, Вероники, и... сто рублей (на них были куплены два ватных одеяла, служивших нам с мамой много-много лет).

И вот на звонок двери открывает сам Валентин. Он обнимает маму и говорит: «Все мои мысли всегда были около тебя и Жени (старшей сестры)».

Надо было знать дядюшку, чтобы понять: в этот момент он искренне верил в свое неожиданное утверждение.

Прошло несколько секунд — и будто не было тридцатилетней разлуки: так сердечно, просто, нежно беседовали брат и сестра.

Когда дядюшка заговорил обо мне, мама спросила:

— А свою дочь ты не хотел бы видеть?

Лицо дядюшки стало беспомощно-обиженным:

— А что же она ко мне не приходит?

Было решено, что он напишет дочери письмо и попросит ее прийти.

Родные Вероники, особенно ее тетя и бабушка, были против этой встречи, боялись нервного потрясения девочки. Не без труда удалось маме их переубедить.

На другой день моя мама и Вероника пошли к профессору.

Живя в разлуке с отцом, девочка слышала о нем от матери, продолжавшей его беззаветно любить, только хорошее. О том месте, какое она отводила ему в своем сердце, говорило хотя бы то, что любимой книгой ее детства была «Домби и сын» Диккенса.

Отец выбежал навстречу дочери. Они крепко обнялись. Профессор заговорил со своей дочкой так, как будто он расстался с ней накануне вечером. И это было совершенно искренне. Таков уж был этот человек, всегда живший сиюминутным чувством.

Вероника, как истая дочь своего отца, сразу же стала называть его папой, говорить ему «ты».

Ореол исключительности и какой-то идеальности, которым девочка окружала отца в своем воображении, вскоре рассеялся. Она узнала и полюбила его таким, каким он был на самом деле. Очень творческим, большим эрудитом, с острой, оригинальной, изящной манерой мышления, тонким добрым юмором. Годы не отняли у него способности загораться и страсти оценивать все по-своему, глубоко и зачастую парадоксально.

И вовсе не испугали Веронику немалочисленные человеческие слабости профессора.

Моя двоюродная сестричка обрела отца. Но годы, которые она его не знала, когда она была его лишена, оставили неизгладимый след. Даже полтора десятка лет спустя, когда ей придется выбирать между мной и моим мужем, она пожалеет не двоюродную сестру, бросаемую на пороге старости, а чужого ей, еще не родившегося человечка. «Я сама росла без отца,— скажет мне Вероника,— и знаю, как это тяжело».

В Москве меня сразу потянуло позвонить Лиде.

Она как раз в это время получила первый, устный

отзыв на Санины рассказы, правда, не от Федина, а от Лавренева.

Вот его слова: «Рассказы симпатичные, они мне понравились». Он передает их в редакцию журнала «Знамя».

Как мешаются в жизни радость и горе! — В тот день, когда Лавренев похвалил Лиде Санины рассказы (он так ждал этой оценки! От нее так много зависело!..), Саня узнал о смерти своей мамы.

«Мама умерла. Со мной осталось — все хорошее, что она для меня сделала, и все плохое, что сделал для нее я. Мне никто не написал о смерти. Вернулся денежный перевод и на нем пометка о смерти. Очевидно — в марте».

Слова о «плохом» были не кокетством. Саня действительно чувствовал себя виноватым. Практически, он вряд ли мог бы спасти мать. Но раздражение по поводу маминых жалоб, рассуждения о маминой суетливости, которая всему виной, наконец то, что, находясь в Ростове, не съездил в недалекий Георгиевск повидаться, может быть, в последний раз,— все это, конечно, не могло не оставить в душе горького следа.

\* \* \*

Получив мою первую московскую открытку, Саня писал мне в Ростов.

«Ты так взволнована Москвой, что не пишешь мне главного, когда же ты будешь в Ростове».

О Лавренева — как-то сдержанно:

«Оценка Лавренева меня порадовала, буду ждать более подробного изложения от Лиды или от него самого. Но его обещание передать рассказы для напечатания меня удивило. Я совершенно не ожидал и не думал об этом».

Это письмо я получила уже в Ростове, где с нетерпением ждала вызова из Саниной части.

Однажды ночью, часа в три, меня разбудил мамин голос: «Наташа, сержант приехал!»

Вскочила, набросила халат поверх ночной сорочки, вышла в нашу первую, большую комнату. На пороге — молодой военный, в шинели, зимней шапке, с рюкзаком за спиной...



Знакомимся...

Накормили его и уложили отсыпаться.

Я же больше не заснула. Когда начало светать, побежала из дому и долго бродила, счастливая, по нашему Пушкинскому бульвару...

Сержанта звали Илья Соломин. Родители его — евреи — жили до войны в Минске. Соломин почти не надеялся, что они живы. Из Минска мало кто успел эвакуироваться. Может быть, поэтому, даже когда он улыбался, его черные, немного выпуклые глаза на серьезном, чаще всего хмуром лице оставались грустными...

Сержант привез мне гимнастерку, широкий кожаный пояс к ней, погоны и звездочку, которую я прикрепила к темно-серому берету. Он вручил мне красноармейскую книжку, выписанную на мое имя. Дата ее выдачи свидетельствовала, что я уже некоторое время служила в части. Было и «отпускное удостоверение».

Я успокаивала себя мыслью, что фронтовому офицеру за этот маленький «спектакль» ничего не сделают. Тем более, что я собиралась остаться служить в Саниной части до конца войны.

В тот же день вечером мы с Соломиным уехали из Ростова. Сержант был ловким парнем. Когда в кассе погасло электричество, ему удалось где-то раздобыть свечи. В виде «вознаграждения» получил железнодорожные билеты в вагон для офицерского состава.

И вот мы вдвоем с мужем. В его землянке. Не сон ли это?..

Звонит телефон. Комдив приглашает нас к себе. Я чувствую себя немного смущенной в офицерском обществе. Но вылитая впервые в жизни водка придает мне храбрости.

Май в тот год был холодным. Приходилось топить печку. Но от этого в землянке становилось еще уютней.

Вечер. Потрескивают дрова в печи.

— Расскажи мне подробно, как вы встретились с Койкой, — прошу я мужа.

— Я лучше прочитаю тебе. Этой главой начинается «Шестой курс». — Потом Саня отвлекается. Начинает говорить о своих планах вообще: планах литературных, да и не только литературных...

Он говорит о том, что видит смысл своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Не все ему

нравится сегодня. Союз с Англией и США. Распушен Коммунистический Интернационал. Изменился гимн. В армии — погоны. Во всем этом он видит отход от идеалов революции. Он советует мне покупать произведения Маркса, Энгельса, Ленина. Может статься и так, заявляет он, что после войны они исчезнут из продажи и с библиотечных полок. За все это придется вести после войны борьбу. Он к ней готов.

Немного побездельничав, я начала знакомиться с работой. Понять оказалось легко. Все дело в том, чтоб научиться работать быстро. Я научилась расшифровывать замысловатые синусоиды, которые приборы выстукивали на звукометрической ленте. Интересно!

В свободное время мы с Саней гуляли, разговаривали, читали. Муж научил меня стрелять из пистолета. Я стала переписывать Санины вещи: «Фруктовый сад», «Женскую повесть».

Самым большим писателем для мужа в ту пору был Горький. Иногда он читал мне вслух «Матвея Кожемякина».

У себя в батарее Саня был полным господином, даже барином. Если ему нужен был ординарец Голованов, блиндаж которого находился с ним рядом, то звонил: «Дежурный! Пришлите Голованова».

В одно из своих посещений замполит Пашкин сказал, что предстоят большие изменения. Их дивизион перестает быть самостоятельной единицей. Он вольется в бригаду. Командиром бригады будет некий полковник Травкин, о котором говорят, что он не склонен терпеть женщин в части.

Мы впервые заговорили о моем отъезде.

Я сказала Сане, что видела в газете объявление о приеме в аспирантуру по физической химии при МГУ. Научное направление — химическая кинетика и катализ. То, что я люблю. Может... махнуть туда? А после войны заживем вместе в столице!

— Ну что же, это — неплохой вариант!..

Мы старались представить себе совместную жизнь после окончания войны. Но все рисовалось слишком туманно. А то, что мы в этом тумане различали, не всегда виделось одинаково. В письмах, последовавших за моим отъездом, это наше разновидение отразится. Я буду вся-

чески стараться увидеть будущее Саниными глазами, почувствовать его чувствами...

Итак, я пробыла у мужа три недели.

Я была еще в пути, когда началось грозное наступление в Белоруссии.

Саня напишет мне позднее, что за 9 дней наступления он едва успевал короткими существительными записывать все навалившиеся на него впечатления. Как резко разнились четыре лета — четыре этапа этой войны! Лето 44-го было настолько стремительно и триумфально!

\* \* \*

9 июля меня зачислили в мой Ростовский университет временно в должности лаборанта.

К этому времени у меня установилась регулярная переписка и с Кокой и с Лидой.

«С Лидой,— пишу я мужу,— мы очень сроднились, сблизилась с ней в Москве. Надя (сестра Кирилла Симоняна) едет в Ленинград. Я уж Лиде написала, не поручить ли ей присмотреть особняк?»

Это шутка. Основанием для нее был выдвинутый Саней проект: после войны зажечь «коммуной». В состав ее должны были войти все члены нашей «пятерки».

Переписка между Саней и Кокой почему-то стала неравномерной. Многие письма не доходили или задерживались...

Что касается Саниного писательства, то оно у него в будущем. Сейчас не до него. Но зато будет о чем и о ком писать!

«С Пашкина рисую сейчас новые и новые детали — эх, когда я смогу сесть за «Шестой курс»? Я так здорово его напишу! Особенно теперь, когда Орловско-Курская битва так рельефно и ярко видна в призме 44-го года».

Саня не проходит и мимо новинок литературы, среди которых он особо выделил «Василия Теркина» Твардовского.

«Попалась первая правдивая (в моем духе) книжка о войне: это—«Василий Теркин» Твардовского. Если прочесть эти стихи внимательно, можно увидеть много таких вещей, которых никто еще не писал. Вообще Твардовский — один из лучших (не лучший ли?) советских поэтов. Как-нибудь черкну ему одобрительное письмо».

А вот отклик моего мужа на новый в то время закон о браке: «Новая реформа в области брака, может быть, многих удивит, кого обрадует, кого огорчит, но она вполне закономерна — она стоит в ряду других таких же — по всестороннему завинчиванию гаек». Он рад, что не ошибся в выборе жены.

Со времени нашей фронтовой встречи меня не оставляло тревожное чувство, что мы с Саней счастье понимали по-разному. Я всячески стремилась приблизить свое понимание счастья к тому, как понимал его он. Но это было не просто, не легко... И Саня, тоже ощущая наше расхождение, корил меня за это в письмах.

«Будучи у меня на фронте, ты сказала как-то: не представляю нашей будущей жизни, если у нас не будет ребенка. Рожать и воспитывать сумеет чуть ли не всякий. Написать художественную историю послеоктябрьских лет могу, может быть, только я один, да и то — разделив свой труд пополам с Кокой, а может быть, и еще с кем-нибудь. Настолько непосилен этот труд для мозга, тела и жизни одного».

\* \* \*

Старое письмо тех времен напомнило мне о том, как мы тогда жили. В день своих именин, 8 сентября 1944 г. я писала мужу. В правом верхнем углу письма до сих пор сохранился след от перышка — чернильные точки по контуру, а на обороте — нитки:

«Как всегда, не праздную, но подарки получаю. Сегодня они у меня совсем необыкновенные: мама починила мой старый портфель и подарила мне американскую (!) грелку, тети — стакан меду, тетя Шура — 2 перышка: одно из них мое любимое, другое — твое. Вот его я тебе и посылаю. Чтоб не выпало — пришила и надеюсь, что цензор посочувствует фронтовику-писаке, который оказался без одного, и даст моему перышку дойти по назначению.

Кроме американской грелки у меня есть еще американские ботики, чудные (мама получила по талону).

Пишу тебе у себя в лаборатории в полном одиночестве. Работаю нервно, лихорадочно, потому что к 15-му обязана получить все данные».

Иногда даже у перышка бывает престранная судьба. В том виною было изменение номера полевой почты.

Вернулось сразу 5 писем. Таким образом, перышко проделало целое путешествие и снова отправилось на фронт.

Кока и Саня теперь еще дальше друг от друга. Муж жалуется, что они теперь даже на разных фронтах.

Узнал о Кокином перемещении Саня, видимо, от кого-то, писем по-прежнему не было:

«От Коки есть что? — снова спрашивал он меня.— Молчит, сукин сын, с июня месяца».

А у Сани к этому времени расширился плацдарм на реке Нарев.

«...В первых числах этого месяца отбивали контратаки не мы, а наши ближайшие левые соседи — батовцы».

Но воевать придется еще немало. Во всяком случае, Саня утепляет машину, обивает ее изнутри трофейными одеялами.

И все же приближение конца войны чувствуется. Хотя бы потому, что то и дело возвращается Саня к теме о нашей послевоенной жизни.

Саня пишет о том, чтобы на первые годы устроить коммуны в Москве. Сразу обеспечивается: несколько квартирных точек, блат Александра Михайловича (Лидинога отца), может быть, такое знакомство — как Анастасия Сергеевна (Мосгороно).

Почему между Саней и Кокой не наладится переписка — совершеннейшая загадка. На отсутствие писем от Коки Саня мне постоянно жалуется.

Мне тем временем пришло еще одно письмо от Коки да еще с фотокарточкой. Похудел. И это фронтовое, характерное, которое есть у Соломина и которого я не уловила у своего мужа в глазах.

Саня! Где была твоя математическая смекалка? Почему ни разу догадка не промелькнула в твоей голове? Да и Кокиной? Догадка, что не только вам двоим интересны ваши письма о послевоенных планах...

Дело дошло до того, что я переслала Коке Санино письмо. И это, конечно, вызвало соответствующую реакцию:

«Дорогая Наташа, получил от тебя Санино письмо. На такие вещи способен только ОН. Живет от меня в 150 км, а письма шлет через Ростов».

Муж уже настолько чувствует себя писателем, что смело судит о других, печатающихся писателях:

«В журнале «Новый мир» № 9 за 1943 год (...) прочел пьесу Александра Крона «Глубокая разведка». Первые три действия так захватили меня, что хотел уже писать Крону приветственное письмо. Но на четвертом он резко сорвался и показал, что при незаурядном таланте мыслитель он заурядный. (Очень бы хотел знать твое мнение об этой пьесе. Лидке пьеса не нравится)».

А Лида тем временем тормозит Лавренева с письменным отзывом на Санины рассказы! И, наконец, этот отзыв в руках у Сани, а у меня — письмо, где муж сообщает о том, что вот уже 10 часов вертит в руках отзыв Лавренева и никак не разберется в своем настроении. Есть все основания быть недовольным — и вместе с тем какая-то приятная легкость, удовлетворение. Во-первых, Лавренев помнит все, что послалось ему в мае 1941 года! («Заграничная», «Стрелочники», «Николаевские»). Называет их «зачатки уменья литературно оформлять свои мысли и наблюдения». Все «похвалы» заключаются в следующих двух фразах:

1) «Автор прошел (с 41-го года) большой путь, созрел, и сейчас можно уже говорить о литературных произведениях».

2) «Способность автора к литературному труду не вызывает у меня сомнения, и мне думается, что в спокойной обстановке после войны, отдавшись целиком делу, которое он, очевидно, любит, автор сможет достигнуть успехов».

Ну, что ж! Да послужит крайняя сдержанность отзыва большим стимулом к работе, стимулом к беспощадной требовательности и уничтожающей самокритике.

Лавренев заставил Саню призадуматься.

Он даже прекратил писать, потому что отзыв Лавренева о «Городе М» поставил под сомнение его творческую манеру в «Шестом курсе».

В той же открытке, в которой Саня пересказывал мне отзыв Лавренева, была совершенно неожиданная приписка на полях:

«Может быть, в 20-х числах декабря поеду к Коке!»

А в следующем письме эта идея развивается:

«Собрался ехать к Коке, разрешение Травкина уже получено», ждал только возвращения из отпуска капитана Степанова...

Но, увы, мужа ждало разочарование.

Степанов опоздал на три дня и из-за этого его Травкин не отпустил. Когда теперь удастся встретиться? На каком рубеже?...

На Новый год устроили в клубе общий ужин с бойцами, потом — коллективное пение, пляски, а снаружи — лунная ночь.

Саня ходил, смотрел, курил и думал о своих планах.

Он шутливо напишет позже, что его жизнь представлялась ему отрезком сукна на целую семью: как из него выкроить и мужское пальто, и юбку, и дамский жакет, и брюки для мальчишки!

Итак, нужно объять необъятное... Санины письма становятся все более сложными, трудными, противоречивыми... Он как бы то наступает на меня, то отступает, старается загладить свою суровость:

«Наверно, своими предыдущими письмами я нагнал на тебя уныние. Ты отложи куда-нибудь подальше эти премудрости или совсем сожги — пусть ничто не смущает тебя».

Но вот снова письмо, заставившее меня... сжаться:

«Ты жалуешься, что я пишу тебе редко. Пишу я тебе, дорогая, не редко, а плохо — это правда».

Для того чтобы в любую долгую разлуку понимать друг друга на расстоянии, надо и развиваться в одну сторону, по одной дороге со скоростью того же порядка, — так думал муж.

А он развивался всю жизнь «болезненно-односторонне», то правым, то левым боком, и куда его тянула жизнь — «сам не знал». С каждым месяцем его литературные планы и намерения «захватываются, завихриваются, впитываются, уносятся Политикой».

Я чувствовала, что в эти минуты раздумий ему нужна не я, а другой человек. И это подтверждали письма. Кока — «единственный в мире человек», от которого, получив письмо даже после годичного перерыва, Саня чувствует небольшую разницу между ними — «как два поезда, которые идут рядом с одной скоростью и можно на ходу переходить из одного в другой».

Неволью я почувствовала в этих словах не только удовлетворение Саней по поводу их полного взаимопонимания с Кокой, но и укор себе...

Наверное, на тон этих писем повлияло и то нервное

напряжение, в котором жили в те недели генералы, офицеры, солдаты на необъятных просторах от Балтики до Карпат. Каждый чувствовал: что-то должно начаться! Может, это будет нынешней ночью?!.. И каждый думал о том, что это грандиозное, безудержное наступление будет последним! Гусеницы танков и самоходок, колеса автомашин и орудий, ноги во фронтовых сапогах остановятся только в Берлине! И хотя, конечно, каждый гнал от себя эту мысль, но она прокрадывалась, и люди спрашивали себя: а дойду ли туда я?

Известное обращение Черчилля ускорило события. Выручая обращенных в бегство и смятение в Арденнах союзников, 12 января, прорвав оборону противника в Южной Польше, двинулся на Запад, оставляя за собой по доброй сотне километров в сутки, 1-й Украинский фронт, на следующий день начал свой марш на Берлин его сосед — 1-й Белорусский. На третий день дошла очередь и до других фронтов.

И тут уж было не до тягостных размышлений об абстрактном будущем. Трудно представить себе, как вырвал капитан Солженицын несколько минут для короткой весточки:

«Сегодня мы начали, рванули, потопали. Отвечаю на лету, уже свернул крайний пост, с минуты на минуту жду полного отбоя. С последней почтой вдруг присыпались как три рукопожатия, как три пожелания победы и жизни — три письма: твое, Лиды и Страуса (школьное прозвище Кирилла Симоняна). И за пять (!) часов ни одного из них не мог распечатать — отсюда представь, что творится».

Каждый вечер звучали в «Последних известиях» по радио новые, непривычные русскому уху названия. Я могла только догадываться, в каком именно направлении движется бригада генерала Травкина.

Смешно, конечно, думать о каких-то личных желаниях, когда идут такие бои, но мне очень хотелось, чтобы Санино предчувствие исполнилось, чтобы его дивизион свернул на север, к границам Восточной Пруссии. Туда, где Солженицын не раз уже побывал мысленно с той поры, как был задуман роман, который должен начинаться самсоновской катастрофой.

И вот! «Сбылось еще одно из тех необъяснимых предчувствий, которые так часто оправдываются у меня.



Шальная мысль 1939 года — побывать в Найденбурге — через 6 лет исполнилась». — Саня был в нем. Стоял среди горящего города. Самое интересное то, что когда генерал Самсонов въезжал в Найденбург в 1914 году — он тоже горел — и так и должно быть в соответствующей главе ЛЮР\*.

«Второй день топаем по Восточной Пруссии. Адски много впечатлений!»

«Сижу недалеко от того леса, где были окружены Ольховский и Северцев!..» (Так назывались по первоначальному замыслу герои «Августа четырнадцатого»).

Самое последнее фронтовое письмо, написанное мне мужем, снова навалило на меня гору переживаний. В нем будто он отталкивает меня одной своей рукой, а другой, опомнившись, притягивает к себе еще больше, еще плотнее. Он не тешит себя иллюзиями: наше будущее не вполне ясно и решение зависит от... меня.

«Весной 44 года я увидел, насколько еще эгоистична твоя любовь, насколько ты полна еще предрассудков в отношении семейной жизни». Я имела неосторожность сказать, что не представляю себе жизни без ребенка. И получила раздраженную отповедь:

«Ты представляешь себе наше будущее как непрерывную совместную жизнь, с накапливающейся обстановкой, с уютной квартирой, с регулярными посещениями гостей и театра... Очень может быть, что ничего этого не будет. Будет беспокойная жизнь. Смены квартир. Вещи будут приходиться и так же легко уходить.

Все зависит от тебя. Я люблю тебя, не люблю никого другого. Но как паровозу не сойти с рельс на миллиметр без крушения, так и мне — никуда не податься в сторону с моего пути.

Пока что ты любишь только меня — а значит, в конечном счете — любишь для себя, для удовлетворения собственных потребностей».

Я узнала, что наши интересы должны так же переплетаться, как, например, Санины и Кокины — на чем неизбежно покоится их дружба.

Мне предлагалось стать выше моих «вполне понятных, вполне человеческих», но «эгоистических» планов на будущую жизнь, и тогда возникнет «настоящая гармония».

\* Задуманная серия романов должна была называться «Люби революцию».

И еще была приписка: «От Коки писем нет, но слезу, что Колпакчи дует прямо на Берлин».

Какая горькая пища для размышлений!..

Но то смятение, в которое повергло меня это письмо, скоро отступит перед волнением, опасениями, отчаянием и, наконец, безнадежностью...

*«Ждать мужа с войны всегда тяжело, но тяжелее всего — в последние месяцы перед концом: ведь осколки и пули не разбираются, сколько провоевано человеком.*

*Именно тут и прекратились письма от Глеба.*

*Надя выбегала высматривать почтальона. Она писала мужу, писала его друзьям, писала его начальникам — все молчали, как заговоренные.*

*Весной сорок пятого года что ни вечер — лупили в небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали города — Кенигсберг, Франкфурт, Берлин, Прагу.*

*А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вернется — он упрекнет ее в упущенном времени. И она измощдала себя целодневным трудом — и только ночью плакала».*

Последнее письмо мужа я получила в самом начале марта. Прошло не больше недели, как вдруг, вместо ожидаемого очередного письма, ко мне возвратилась моя собственная открытка. На ней надпись: «Адресат выбыл из части».

Я — в панике. Сразу написала Сане, Пашкину, который для меня после знакомства в мае — июне 44-го года был просто Арсений Алексеевич, написала Илье Соломину. Они, конечно, ответят мне, если не сам Саня.

Лида тоже послала запросы Пашкину и Мельникову. Если не будет ответа, утешала она меня, — значит все они поменяли полевую почту, и ясно, что все хорошо!

Пытался успокоить меня и капитан-хирург Кирилл Симонян, воевавший где-то неподалеку от Сани в Восточной Пруссии:

«Наша армия не так нежно воспитана, чтобы скрывать от семьи истину о погибших. И если бы Саня был ранен, то почтальон бы написал на письме: ранен такого-то числа. Или убит».

Прошел месяц после возвращения моей открытки. Месяц, в течение которого никто не узнавал меня. Я жила

чисто автоматически... Делала то, что было нужно; старалась все делать хорошо и добросовестно, зная и понимая, что Саня не простил бы мне, если бы я вела себя иначе. (К этому времени я была уже аспиранткой.) Но никто не слышал больше моего смеха, не видел улыбки на лице. Ассистентка Зоя Браславская, с которой мы так привязались друг к другу, все спрашивала:

«Наташенька, когда же я услышу твой звонкий голосок?..»

Днем держалась, а вечерами плакала, уткнувшись в подушку...

То ли 10-го, то ли 11-го апреля почтальон принес письмо от Соломина. Писал Илья не мне, а маме, что само по себе, было странным. Пугающе звучало уже начало письма:

«Сейчас обстоятельства сложились так, что я должен вам написать. Вас, конечно, интересует судьба Сани, почему он не пишет и что с ним...»

Но дальше успокаивал:

«Он отозван из нашей части. Зачем и куда сейчас не могу сообщить. Я знаю только, что он жив и здоров, и больше ничего, а также, что ничего плохого с ним не будет».

Что это — спецзадание?.. Мне приходилось слышать, что такие бывают...

Но почему же тогда вновь тревожащая нотка?

«Очень прошу вас, не волнуйтесь, а также помогите Наташе».

Но мы не могли не волноваться. Даже если это спецзадание. Мало ли какие они бывают? Иногда даже очень опасные... Но ведь Илья заверяет, что Саня «жив, здоров, что ничего плохого с ним не будет».

*«...Человеческое сердце, никогда не желающее примириться с необратимым, стало придумывать небывлицы — может быть, заслан в глубокую разведку? Может быть, выполняет спецзадание? Поколению, воспитанному в подозрительности и секретности, мерещились тайны там, где их не было».*

Настал день 9 мая 1945 года.

*«...Безумные от радости люди бегали по безумным улицам. И кто-то стрелял из пистолета в воздух. И все динамики Советского Союза разносили победные марши над израненной, голодной страной».*

Каким несказанно счастливым мог бы оказаться для меня этот день! Если бы... Впрочем, теперь появилась надежда, что Саня даст о себе знать...

Но и еще месяц прошел, а писем... не было. Подозрительно долго не получала писем и Антонина Васильевна от Коки. Почему так?..

Ответов на ее запросы тоже не было. Она была в большом волнении... Как-то передала мне слова Кокиной бабушки: «Почему... оба?»

Почему оба?..

Я думала об этом и в тот момент, когда пришло второе письмо от Соломина. Оно должно было разрешить загадку...

«Отъезд был неожиданным...»

«Мы с ним даже не могли поговорить, поэтому и не удивляйтесь, что он не смог вам ничего сообщить...»

«Не могли?»... Если бы Илья написал «не успели» — было бы понятнее. Что значит «не могли»? ...Кто-то не разрешил? Кто?..

«Писем от него не ждите, ибо писать он вам не в состоянии. Запросов также никаких не делай, ибо это в лучшем случае бесполезно...»

Почему «в лучшем случае»? А в... худшем?..

«Ну, слава богу, теперь все кончено. (Речь шла о конце боев.) Между прочим, это никакой роли на отъезд Сани не сыграло».

Это означало, что Санино исчезновение не имело никакого отношения к службе, к боям, к войне. Единственное, что может быть, — это...

Я кинулась к письмам, которые привезла с фронта.

Аккуратно подобранные в самодельном картонном конверте «Письма жены». А вот и пачка писем от Коки.

Первое же прочитанное мною письмо досказало то, что было недосказано Ильей...

Теперь оставалось только ждать, какое и откуда придет следующее известие...

## Московская прописка

Морозным февральским днем 1945 года к перрону Белорусского вокзала подошел пассажирский поезд со стороны далекого уже фронта.

В толпе, хлынувшей на московскую землю, среди бесчисленных шинелей, защитных курток, армейских полушубков никто не обратил внимания на трех человек, старавшихся не потерять друг друга.

Двое из них были одеты обычно, на третьем была щеголеватая шинель, но без погон и скрипучих ремней, и офицерская шапка, но без звездочки.

Еще года не прошло с того дня, как Александр Солженицын был здесь проездом в отпуск, виделся с друзьями школьных и студенческих лет — Лидой и Кириллом. Тогда ему казалось, что он «легче воздуха», он «земли под собой не чувствовал».

Москва... Город, который он собирался покорить, который был воплощением его послевоенных мечтаний... И вот как привелось с нею встретиться.

Вокзальная площадь. Конвоиры растерялись: они попали в столицу впервые, не знали дороги. Арестованный объясняет. Внешне он спокоен и уверен, хотя на самом деле ему было так, будто его голову «суют в петлю»; казалось, что задыхается.

Метрополитен. Манящий мгновенной смертью туннель. ...Зачем? — Он докажет свою невиновность! Он еще

выйдет на свободу! Лучше осмотреться кругом. Разве не бывает удивительных встреч? Но нет. Все чужие, чужие лица.

Все произошло неожиданно и нелепо.

9 февраля старший сержант Соломин зашел к своему командиру с куском голубого плюша.

«Я сказал ему,— вспоминал много лет спустя солидный инженер Соломин,— у меня ведь все равно никого нет. Давайте пошлем Наташе, блузка выйдет...»

В этот момент вошли в комнату двое. Один говорит: «Солженицын Александр Исаевич? Вы нам нужны».

Они вышли.

Какая-то сила толкнула меня выйти следом. Он уже сидел в черной «эмке». Посмотрел на меня, или мне показалось, таким долгим взглядом...

Его увезли. Больше я его не видел. Двадцать с лишним лет...

Сам не знаю почему, побежал я к его машине. Там стоял ящик из-под немецких снарядов. Раскрыл. Книжки... Он собирал наши книги 20-х годов. Под ними — немецкие какие-то. Перевернул обложку на одной, смотрю — портрет Гитлера.

Представляешь? Конечно, для него это был просто любопытный трофей, но законы военного времени...

Забрал ящик к себе, а потом все сжег. Оставил только твои письма. Привез тебе их после. Помнишь?..

Через час примерно снова приехали те двое. Потребовали вещи Солженицына. Отдал им чемодан его и шинель. «Больше ничего нет?» — спросили. — «Нет».

Когда приезжали за вещами Солженицына, сам он уже находился в камере, еще не в силах поверить, что все происшедшее в кабинете командира бригады генерала Травкина — явь.

Генерал попросил у капитана револьвер. Солженицын с готовностью расстегнул кобуру и положил его на стол. Но генерал не стал проверять, в порядке ли личное оружие командира батареи.

То, что произошло следом, было невероятно! Жесткий голос произнес:

— Вы арестованы.

— Этого не может быть! — крикнул Солженицын. — За что?..

— Вы арестованы!

— Погодите! — Травкин властным жестом остановил контрразведчиков и, глядя на своего бывшего подчиненного, сказал просто, как будто ничего не происходит:

— Солженицын, у вас есть брат на Первом Украинском фронте?

Большого он сказать не мог. Но этого было достаточно. Брат — это Виткевич. Он и Кока... Неужели из-за этого? Их переписка... Разве что «Резолюция»?! Но ведь о ней никто не знает...

Его ведут к двери.

— Остановитесь! — доносится голос генерала.

— Солженицын, желаю вам... счастья...

В машину. П-о-е-х-а-л-и!..

Уже не с Востока на Запад, а с Запада на Восток....

Навстречу поезду мчались платформы с танками и пушками. Поток людей, оружия, продовольствия, снарядов неудержимо лился туда, к последним рубежам войны, штурмовать которые будут без артиллерийского капитана, два года шедшего со своей армией от сердца России — с Орловщины до самого «рейха», и вот так глупо оступившегося...

Солженицына конвоируют офицер и солдат.

Попутчики в поезде ни о чем не догадываются. Едут вместе трое военных. Один без погон. Да мало ли почему! С конвоирами заключено «джентльменское соглашение»: с ним не будут обращаться как с арестованным, а он не будет делать глупостей.

Однажды, когда уже переехали бывшую границу, Александр разговорился с девушкой. Болтал какую-то чепуху. Конвоиры не мешают. А он просит девушку не пугаться, не меняться в лице. Девушке это плохо удается. Офицер, что-то заподозрив, пересаживается поближе. Но Александр успел сказать главное.— Он арестован. Надо сообщить жене, что он жив, что его видели. Ростов, Средний, 27, Решетовской.

У девушки такое хорошее лицо. Такие добрые глаза. Только теперь еще и испуганные. Напишет?.. Побоится?.. Может, не запомнила? не расслышала?.. Со страху не поняла, в чем дело?..

А может, и написала, да письмо не дошло. Время военное. Всякое бывало.

Последние метры свободы... И тяжелые двери, впус­тив его, захлопываются.

Первая ночь на Лубянке описана в «Круге». С Солженицыным произошло все то же, что произошло с его литературным персонажем Иннокентием Володиным. Обыск, изъятие личных вещей, множество мелких процедур, камера-бокс с ослепительно ярким электрическим светом.

Вероятно, и Солженицына в какой-то миг «потянуло узнать, который час». Он поднял руку к карману гимнастерки и сделал открытие...

*«ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО».*

\* \* \*

Кончилось следствие.

В общей камере на Лубянке — не то что в боксах. Здесь есть окна, хотя и забранные в деревянные ящики. Но клочок неба все же виден. Все чаще по вечерам этот клочок неба расцветивается алыми, золотистыми, изумрудными стрелами, звездами, фонтанами сияющих брызг. В камеру глухо доносится гул пушек. Это — салюты! Еще шаг на запад! Что значит для великой армии какой-то артиллерийский капитан! И без него дойдут до Берлина!

И, наконец, день, который чем-то неуловимо отличается ото всех предыдущих. Несколько сбит режим: время завтрака, обеда... С опозданием приносят обед. И тут же сразу — ужин. Догадка переходит в уверенность вечером, когда долго-долго не стихают залпы салюта, и неба не видно от бесчисленных быстрых огней. Это пришла... ПОБЕДА!

И кто-то в камере роняет: «а значит, и амнистия...»

Так ли думал мой муж встретить этот день, когда писал мне в августе 44-го года:

«...первое мгновение — весть о конце войны — будет самым ярчайшим блаженным днем в жизни каждого».

А в первую годовщину Победы вспомнил он в письме из лагеря, как шестеро на Лубянке смотрели, уже лежа в постелях, на маленький клочок неба вверху окна, исчерченный фиолетовыми лучами прожектора, озаренный вспышками, и радовались, что остались живы, и свято



вспоминали тех, кто сложил свои русские головы, не дожив до этого дня.

С Лубянки Саню переводят в Бутырку. Его ввезли туда в «воронке», а потому он не видел страшной кирпичной стены, пугавшей прохожих. А внутри не так уж плохо. Часы проходят в интересных беседах. Биографии, биографии... Люди, которые могли бы начать сейчас с энтузиазмом трудиться, чтобы скорей восстановить страну после войны, — вместо того играют в шахматы, читают беллетристику, занимаются воспоминаниями, острят...

Работать никто не заставляет. А кормят вполне сносно. «Санаторий «Бу-Тюр» (такие знаки на выданном им белье)!

Именно здесь 27 июля выслушал мой муж приговор:

«Восемь лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-10 и 58-11...»

В Бутырках ему разрешили написать родственникам в Москве, если таковые имеются, что они могут приносить передачи. Особой необходимости в этом нет. Но ведь это способ дать знать о себе! Память легко восстанавливает адрес Вероники Николаевны Туркиной — тети Верони: Малая Бронная, 42/14, квартира 10...

\* \* \*

Они — арестованы. Арестованы оба. Арестованы из-за писем друг другу — думала я, держа в руках пачку конвертов. — Сэры доострились! Вот во что вылилась встреча на фронте, которой мы так радовались...

Никто из командиров не ответил мне. Молчал Пашкин. Не ответил Лиде Мельников. Только у сержанта Соломина хватило мужества.

Я усиленно готовилась к сдаче кандидатского минимума, превозмогая горе, которого не умела скрывать. О том, что пропал муж, знали аспиранты, знали сотрудники кафедры, знали мои учителя. Я прежде часто пересказывала им Санины письма, порой даже читала отрывки из них. Все сочувствовали мне.

Экзамены как-то сгрудились. Я должна была сдавать все три на грани июня — июля. Но тут-то и ворвались в мою жизнь события...

25 июня принесли срочную телеграмму

«Саня жив здоров подробности сообщу=Вероника».

...Быть может, все наши опасения ложны? Телеграмма звучала так оптимистически...

Рисовалось: Саня проезжал через Москву в особом эшелоне. Либо он сам, не имея права писать, успел побывать у Туркиных на Малой Бронной, либо попросил кого-нибудь сообщить им.

И я... ожила. Жизнь снова приобрела для меня смысл...

Через два дня пришла вторая телеграмма:

«Саня Москве несвободна приезжай или закажи вызов через телеграф переговорную по моему адресу=Вероника».

...Радоваться ли? Отчаиваться ли?.. Понятно, что женский род неслучаен. Шифровка. А вдруг, потому что он засекречен?

Помню мучительное ожидание на переговорной, похоронившие все иллюзии слова тети.

— Я отнесла ему сегодня передачу.

Так вот что означало: «Саня несвободна!»...

Душа разрывалась. Но мозг уже работал. Нужно, чтобы те, кто знал о первой телеграмме, молчали. Нужно предупредить... Нужно говорить всем и поверить самой, что Александр пропал без вести! — Так в мою жизнь вошла тайна...

Я шла посредине улицы и плакала в голос. Жалость и сострадание к мужу заполнили меня до краев. Я представляла его, такого еще недавно удачливого, уверенного в себе, блестящего офицера с орденом на груди, лишившимся всего этого, в одиночной камере с решеткой на окне.

И все-таки я проснулась на следующее утро от радостного толчка в сердце: он жив — все остальное не имеет значения.

Те, кто не знал, что муж нашелся, недоумевали. Както меня, оживленную, встретил на улице преподаватель немецкого языка Шпарлинский.

— Известие от мужа? — спросил он.

— Нет,— ответила я, стараясь надеть на свое лицо маску грусти.

— Таково женское постоянство! — сказал Шпарлинский уже не мне...

Как раз в те дни стало известно, что профессор Трифонов, мой руководитель по аспирантуре, переходит заведовать кафедрой в Казань. Считая себя ответственным предо мною, он предложил мне три варианта...

Тоже Казань. Но там он еще и сам не устроен, а потому никак не может поручиться, что может обеспечить мне приличные условия.

Аспирантура Новочеркасского политехнического института. Там есть подходящий руководитель.

И, наконец, я могу попытаться перевестись в аспирантуру Московского университета, где кафедрой физической химии заведует профессор Фрост.

— Вы — ученица Степуховича, Степухович — ученик Фроста. Таким образом, вы оказываетесь как бы его научной внучкой...

Приходится ли удивляться, что я без колебаний ухватилась тотчас же за третий вариант — самый нереальный, пожалуй, фантастический. В Москву! Конечно, в Москву!..

Все сплелось воедино. Все тянуло в Москву. Нужно ехать немедленно. Кандидатский минимум еще не сдан. Ничего! Возьму с собой учебники. С поездами трудно. Полетела самолетом.

Чтобы Саня почувствовал, что я все так же люблю его и на все для него готова, я привезла с собой в Москву лоскутки «золотого» платья, которое было на мне в тот день, когда мы поставили подписи на брачном свидетельстве.

От Малой Бронной — на метро до Белорусской. Потом — пятым трамваем до Новослободской.

*«Бутырки — эта, по сути, мягкая веселая тюрьма, казалась женам леденящей. Они видели крепостную стену в четыре человеческих роста, протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они видели железные ворота между мощными бетонными столпами, к тому ж ворота необычайные: медленнораздвижные, механически открывающие и закрывающие свой зев для воронок».*

Спасение от переживаний — в непрерывной деятельности.

Передачи. Посещение Справочного отдела МГБ на Кузнецком мосту.

Кафедра физической химии МГУ — тогда в доме, глубоко спрятавшемся во дворе самого старого здания уни-

верситета. Еще молодой и красивый профессор Фрост. У него самого все аспирантские места заняты. Но он не будет возражать, если меня возьмет к себе профессор Кобозев, заведующий лабораторией катализа. Кобозев из-за болезни в университете не бывает. Ему можно позвонить и посетить на дому.

Я в кабинете у профессора Кобозева, за его старинным письменным столом. Выслушав мою краткую научную биографию, Кобозев квалифицирует меня, как «Табула раса», и предлагает познакомиться с его трудами.

Чтение статей Кобозева в «Журнале физической химии» в читальном зале Ленинской библиотеки. Оригинальнейшая и смелая «теория ансамблей».

Посещение Министерства высшего образования. Для перевода из одного университета в другой нужно согласие обоих ректоров.

Я у заместителя декана химфака профессора Пржевальского. Первая осечка! «У вас еще не сданы экзамены — раз. Надо менять тему — два. Вы не уложите в срок — три».

Снова передача на Новослободской. От этого времени сохранилось лишь одно мое письмо, посланное маме. Вот его содержание:

«Дорогая мамочка!

Ничего нового. Может статься, что с этим я и приеду в Ростов. Вчера отослала вторую посылку. Кроме продуктов отправила белье, полотенце, носки и носовые платки. Не забудь прикрепить меня к столовой и сдать в РГУ рабочую карточку».

«Теория активных ансамблей» меня увлекла. Я прямо говорю об этом профессору Кобозеву. Задаю возникшие у меня вопросы.

— Вот на них-то я и предложу вам самой ответить! — сказал Николай Иванович и написал на отдельном листе свое согласие принять на себя руководство моей аспирантской работой. Дата — 18 июля 45-го года.

Первая победа!

Профессор Фрост подтверждает согласие.

После того, как одолела «теорию ансамблей», в вагонах метро и троллейбусах, в ожидании приемов, где только можно, я готовилась к экзаменам, которые предстояло сдать в Ростове.

Чуть ли не накануне отъезда из Москвы, в самом начале августа, в приемной МГБ на Кузнецком мосту мне сказали: «8 лет исправительно-трудовых лагерей».

— А писать можно будет? — тотчас же спросила я. Уже это мне казалось отрадой.

— Да. С правом переписки.

Я вышла оттуда со смешанным чувством горечи от долготы срока и радости ожидания писем. Сразу же позвонила Лидусе, которая разделяла все мои переживания, как-то вместе со мною побывала под «крепостными стенами» Бутырок, участвовала в передачах Сане.

— А мы собирались пригласить тебя сегодня в театр, на «Он пришел» Пристли,— сказала она упавшим голосом.

— Пойду! — ответила я решительно.

Надо было набираться большого дыхания! Восемь лет ожидания впереди! Надо привыкать жить с этим!

В Ростове один за другим сдаю все три экзамена. Занимаюсь с воодушевлением. Больше всего увлекла философия.

Мы выбрали новый способ сдачи экзамена. Вместо вопросов — реферат, тему которого Резников давал нам за неделю. «Физика и философия Декарта и Ньютона»! Сначала о каждом, а потом — сравнение, самое интересное...

От Лиды — фраза: «...пиши по адресу: Москва, 22, Краснопресненский пересыльный пункт. Ну, что тебе еще рассказать?.. Все в порядке».

Все в порядке?! На пересылке... Уже не за страшной стеной... А куда теперь?..

Пришло письмо от тети Верони:

«...Шурочку видела только один раз. Она возвращалась со своими подругами с разгрузки дров на Москвереке. Выглядит замечательно, загорелая, бодрая, веселая, смеется, рот до ушей, зубы так и сверкают. Я очень рада, что настроение у нее хорошее».

Полгода назад я прочла последнее письмо мужа-офицера. И вот теперь — первое письмо мужа-заключенного.

Разворачиваю треугольничек. Четыре тесно исписанных бледным карандашом мелким-мелким почерком странички.

Он пишет о своей уверенности, что срока 8 лет не придется сидеть до конца — вся надежда на близкую амни-

стию, о которой ходит столько слухов. Но если ее и не будет, Александр считал своим долгом предоставить мне на весь срок своего наказания «полную личную свободу». Он писал о том, что слишком любит «свою красавицу», молодость которой с двадцати трех лет проходит в одних ожиданиях и что же? до тридцати четырех лет? Беспокоился он и о Николае, до сих пор не зная его судьбу.

Тяжело. Будущее в полном тумане, но Солженицын не может не строить планов. Он мечтал, что после войны мы будем жить в Москве или Ленинграде. В тюрьме сложилась совсем другая мечта — после выхода на свободу уехать со мной в «глухую обильную сытую и живописную деревню», подальше от железной дороги будь то в Сибири или на Кубани, или на Волге, или даже на Дону, обоим работать там в средней школе, а в 2-месячный летний отпуск ехать развлекаться в Москву, в Ленинград, в Ростов.

Жизнь счастливая, спокойная, близкая к природе и гарантирующая от таких «случайностей», какая произошла 9 февраля 1945 года. Как совместить это с моим будущим доцентством, Александр ума не приложит, но во всяком случае советует «держаться за аспирантуру всемерно».

Что касается возраста, то муж переоценил его за эти полгода. Он видел людей, которые хотя и начали новую и счастливую жизнь с 55 и даже с 65 лет.

Что общего у автора этого письма с автором 248 военных писем?.. И что общего у него с сегодняшним Солженицыным?.. Каких только резких поворотов не наблюдала я у своего мужа, не уставая пытаться следовать за ним, не сбиваться с его зигзагообразного пути, даже если повороты эти происходили еще только в его воображении!..

Тетя Вероня между тем в очередную пятницу поехала на Красную Пресню с очередной передачей. Не приняли. Уехал... Куда — не сказали. Велели прийти во вторник, потом в четверг... И только в пятницу, 24 августа Вероника Николаевна мне писала:

«Вот и правда, что вам светит счастливая звезда. Наташенька золотая, сколько на меня было устремлено вчера завистливых глаз. Можешь успокоиться, из Москвы каждое воскресенье будешь ездить в Ново-Иеруса-

лим, это ведь дачное место, великолепная природа, называли раньше его «русская Швейцария», будешь видаться».

«Русская Швейцария»... Если пройти от станции по Волоколамскому шоссе влево километр с небольшим, то можно увидеть справа кирпичный заводик и двухэтажные белые дома. Это и был лагерь, куда привезли моего мужа. Он рад, что попал не куда-нибудь на далекий север, вроде Печоры или Колымы, а близко от Москвы, в хорошие климатические условия. Но работа — тяжелая.

«Норма чернорабочего не по моим силам. Проклинаю свою физическую неразвитость», — жалуется муж.

Но я даже из Ростова приехать не успела, как Санин адрес изменился и он оказался в ...самой Москве! «Москва, 71, Большая Калужская, 30, стройка № 121».

Я же ни о чем не подозреваю. И потому меня совершенно ошарашивают слова тети Верони, прямо на вокзале: «Саня уже в самой Москве. Ты его завтра увидишь. Он ждет».

Москвичи, проходящие мимо строящегося дома, не все замечали, что поверх деревянного забора в несколько рядов натянута была колючая проволока.

*«...Высоко на каменной кладке копошились какие-то люди в грязной рваной одежде — но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих и проезжих не догадывался, что это — зэки.*

*А кто догадывался — тот молчал».*

*«...Автобусы и троллейбусы останавливались у конца решетки Нескучного сада, где и была вахта лагеря, проходящая на простую проходную строительства».*

К этой вахте я и подошла. И обратилась к дежурному охраннику.

Несколько минут я пробыла одна в невысокой пустой комнате с деревянными скамьями вдоль стен.

Послышались шаги. В дверях — улыбающееся лицо моего мужа. Кепку он держал в руке, обнажив стриженую голову.

Это было наше первое свидание втроем. Мы и... надзиратель.

— Ведь последние письма я написал тебе хорошие, правда? — спросил Саня меня на том первом свидании.

Теперь ему хотелось, чтобы это было так...

Прежний Саня не умел задумываться о той боли, которую он мог причинить.

В чем-то уже новый Саня был куда чувствительней к стуку другого сердца. И ему захотелось зачеркнуть оскорбительные для меня строки его писем.

*«На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех заносчивых людей, несчастье оказало на него благое действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил за искрами ее глаз».*

\* \* \*

По отдельным рассказам мужа и немногим документам, по тем намекам на следствие, которые угадываются в произведениях Солженицына, я пыталась представить себе, как оно проходило, как проходили, в частности, допросы. О чем-то приходилось при этом догадываться, что-то предполагать, исходя из психологии мужа, которую я — так мне, по крайней мере, казалось — достаточно знала.

И у меня сложилась хотя и небогатая, но цельная и довольно стройная картина.

Но настал вечер, когда я услышала по радио главу о следствии из «Архипелага». В ней не было ничего нового для меня, да и сам текст был знаком. Но что-то в нем поразило меня и заставило задуматься. Слаженная, казавшаяся безупречной картина словно заколебалась...

А потом — тоже по радио — я узнала об интервью Николая Виткевича для американской газеты «Крисчен сайенс монитор» и мне пришлось взглянуть на давние события другими глазами и дать им другое толкование...

Но не будем забегать далеко вперед. Вспомним сначала то немногое, что Солженицын приоткрыл в «Архипелаге» и что почти полностью совпадает с его рассказами о следствии.

...Следователь — капитан Езепов. Допросы ведутся в его просторном кабинете. Кроме двух капитанов, здесь молчаливо присутствует маршал. — Портрет Сталина во весь рост висит на стене. Иногда в кабинет приходит приятель Езепова, видимо, тоже следователь. Они сидят на диване и о чем-то беседуют, пока Солженицын обдумывает очередной ответ.

Допросы происходят вечером и ночью. Выспавшись днем, следователь звонит жене и предупреждает, что



вернется лишь к утру. Сердце у подследственного падает: снова бессонная ночь.

Недосыпание, яркий свет в боксе так подавляют Солженицына, что он кажется самому себе предельно несчастным, потерянным, погибшим.

Поначалу подследственный пытался придерживаться той же тактики, что и Глеб Нержин из «Круга первого» — говорить то, что было на самом деле. Но «...следователь не верил, что моя пятьдесят восемь-десять потянулась с изучения диамата,— рассказывает об этом в романе Нержин своему другу Рубину.— Живой жизни я не знал никогда, книгоед, каюсь, но я сравнивал и сравнивал эти два стиля, эти два пера, эти два способа аргументации...» (Имелись в виду тексты произведений Ленина и Сталина).

Итак, следовательно не верил и пришлось менять тактику поведения.

Это было вызвано и тем, что «помутненным мозгом должен был сплести что-то очень правдоподобное» о встречах с друзьями. Да и не только о встречах. Обо всем. И это «очень правдоподобное» должно было убедить следователя в его, Солженицына, «простоте, приbedненности, открытости до конца». (Из «Архипелага».)

Отсюда и готовность отвечать на вопросы. Правда, Езепов дает свои, жесткие формулировки ответов. Прочитав протоколы, может быть, кое-что в них исправив, Солженицын их все же подписывал. Позже, при реабилитации, когда ему покажут эти протоколы, он с трудом поверит, что мог подписать такое! Но... подписывал. Следователя нельзя сердить! От него зависит, как будет выглядеть обвинительное заключение. Солженицын, по сути, придерживался той же нехитрой линии, что и его будущий герой Иван Денисович:

«Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь малость. Подписал».

Главное, что «избежал кого-нибудь посадить. А близко было».

Знакомясь с обвинительным заключением, Солженицын узнал, что имеет право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия. Он хочет воспользоваться этим правом и написать жалобу.— Он недоволен жесткими, казенными формулировками, в ко-

торых следователь излагал его ответы. Ему не отказывают. «Ну что ж, давай все сначала!» — говорит ему следователь.

...Сначала?! Нет. Лучше умереть... Где-то май... На бронзовые часы на камине упал первый луч... Впереди все-таки обещалась какая-то жизнь... И Солженицын подписал и обвинительное заключение. Он признал себя виновным по пунктам 10 и 11 58-й статьи. Первый из них предусматривал наказание за антисоветскую агитацию, второй — за создание или попытку создания для этой же деятельности организации, группы.

Итак, следствие закончено. Солженицын в кабинете прокурора — подполковника Котова, который должен наблюдать за правильностью ведения дела. Тот лениво перелистывает папку с протоколами и вещественными доказательствами. Усталость Котова передается Солженицыну. И он попросил только снять одиннадцатый пункт. Какая же группа — ведь по делу проходят только двое! Подполковник Котов разъясняет, что даже полтора, мол, больше одного. А значит — группа!

Так описывает следствие Солженицын. Кажется, что все просто и понятно. И согласуется с тем, что я знала и раньше... Но почему же январской ночью 1974 года, когда я слушала по радио главу «Следствие» из «Архипелага», текст ее в чем-то прозвучал для меня по-новому?..

«Слава богу, избежал кого-нибудь посадить. А близко было!»... Что значит... «близко было»? Прежде я как-то никогда над этим не задумывалась и считала даже эти строки некоторым преувеличением.

А как непохожа на весь облик Александра Исаевича эта просьба: не бросать камень в тех, кто оказался слаб на следствии!

Не только мне известно, как нетерпим Александр Исаевич к малейшим проявлениям слабости, как требует ото всех и каждого беспрестанных жертв, отказывается прощать что бы то ни было кому бы то ни было.

Не так давно он обрушился на Якира и Красина за то, что они «раскололись». Не оклеветали кого-нибудь, не подписали ложные показания, а просто раскаялись в совершенном ими. А известное письмо к Патриарху, где служителям культа ставятся в пример первые христиане, готовые жертвовать жизнью в яме со львами!

Уже поселившись в Европе, Солженицын упрекает то одного, то другого в тех или иных «грехах» — истинных или мнимых: то Медведева, то Ростроповича, то Решетовскую...

А здесь, при описании собственного следствия, — такая апелляция к терпимости, прощению, кротости!..

Раньше все казалось понятным. А теперь?..

И, вдруг, из глубин памяти выплыл очень грустный и очень радостный день, когда пришло мне в Ростов первое, сложенное маленьким треугольничком письмецо от мужа-заклученного, нацарапанное плохо отточенным карандашом...

Нет, все-таки побеждала не грусть, а радость! А мама почему-то еще и испугалась. В письме были строки: «Сколько неизъяснимой радости доставили мне листики, написанные твоей рукой. Я узнал таким образом, что ты жива, здорова и свободна...»

— Как он может так писать! — воскликнула мама. — Значит, тебя тоже могли арестовать?.. Почему ты вдруг могла быть «несвободна»?

Мне же эти слова показались совершенно естественными. Арест, как я догадывалась, был связан с перепиской между мужем и Виткевичем. Поэтому Солженицын вправе был предположить, что интересовались и другими его корреспондентами. Может быть, ему даже говорили на следствии, что я арестована. Понятно, что он нервничал. Теперь успокоился.

Тогда я думала так...

Перебираю пачку писем 1945 года. Вот и треугольничек. Перечитываю его в который раз... Еще в том же письме: «...до сих пор не знаю, разделил ли мою судьбу сэр или нет?» Сэр — это Николай Виткевич. Как же так: в середине августа Солженицын не знает, арестован Виткевич или нет!.. А по версии «Архипелага» он уже в апреле или самом начале мая говорил Котову, тому самому подполковнику, что по делу их проходит двое.

И еще одно письмо. И еще одно...

Саня буквально бомбардирует (сначала тетю Верону — связь с ней установилась раньше, чем со мной) вопросами: где Кирилл? где Лида? что слышно о Николае? — «Отвечайте хоть коротко, самое необходимое...» «Десять дней с нетерпением жду известий». «От всей

души желаю, чтобы Кока и Кирилл избежали моей участи...»

Почему мы должны были исчезнуть? Письма? Но в наших ничего не было... Почему такое беспокойство за нас в июле — августе? Ведь знал же еще в мае, что «проходят двое», только двое.

Еще одно «открытие». Самое горькое. — «Если писем от него (Николая. — *Н. Р.*) нет с начала — середины июня, то так и знайте, что он повторил все мои злоключения...» Раньше для меня не было разницы между «разделил» и «повторил». Теперь задумываюсь: почему «повторил»?.. И почему лишь после окончания солженицынского следствия? Неужели, если следствие пошло бы другим путем, Николая могли бы и не посадить?!

Каким же путем могло идти следствие?

Я просматриваю письма мужа последнего года войны. Фразы, которые когда-то не заставляли задумываться по-настоящему: «война после войны», «...начало колоссальной партийно-литературной борьбы, в которой, может быть, не все члены нашей пятерки будут идти моим путем». Да, наверно, тогда, в 1945 году, эта мальчишеская бравада могла показаться не столь уж безобидной...

Письмо, в котором идет речь о «первом марксистском документе» — «резолуции номер один» — Солженицын всегда носил ее при себе в планшете и ее отобрали при аресте. Да ведь я же читала эту «резолуцию», когда была у мужа на фронте! Там, в числе прочего, говорилось, что нужно будет войны искать понимания и поддержки в студенческих и литературных кругах, привлекать на свою сторону влиятельных людей.

Я представляю себе следователя, на столе которого лежат эти документы. Так вот откуда статья 58 пункт одиннадцатый — умысел на организацию группы. Вовсе не потому, что «даже полтора человека больше одного. Значит — группа». И как бы мог подполковник Котов так ответить? Ведь именно в этот момент он листал дело, в котором были подшиты и «Резолюция номер один» и такого рода письма, вернее, их фотокопии.

Почему же никогда не шла речь о главном содержании обвинения?

И почему Николая не обвинили по пункту 11-му? Неразбериха военного времени?..

Почему Солженицыну дали восемь лет, а Виткевичу десять? — Мало ли каких несправедливостей не было в те времена...

И хотя ни одно из моих недоумений не было решено, старалась больше не думать о каких-то «белых пятнах» главы «Следствие» в «Архипелаге». К чему ломать голову над вопросами, на которые все равно никогда не получишь однозначного ответа?..

Прошло совсем немного времени, когда вечером, поймав американскую радиостанцию, я подумала, что ослышалась: диктор назвала фамилию Виткевича.

Сообщения — то была краткая сводка новостей — повторялись, и до меня донеслось, что Николай Виткевич (о нем упоминается в «Архипелаге») обвиняет Солженицына в «ложном доносе» на него, данном во время следствия. О подробностях не сообщалось.

Я не видела Николая почти десять лет. Но не мог же за этот срок такой человек, как он, потерять всю свою честность и бескомпромиссность? Описывая наши студенческие годы, я вспоминала о том, каков был характер Виткевича.

«Ложный донос на следствии»... Не верить Виткевичу?.. — Невозможно.

Стараюсь вспомнить, что говорил мне муж о своих показаниях насчет Николая. Практически ничего. А вот относительно Кириллы у нас с мужем разговор был...

То ли в 57-м, то ли в 58-м году я узнала от Лиды, что Кириллу давали читать какие-то Санины показания против него. Кира был возмущен их содержанием. Я спросила у Сани, что бы это могло значить, будучи уверена, что услышу, что это недоразумение, а может быть, и подделка...

Но Александр не стал отрицать, что бросил какую-то тень на Симоняна. Он объяснил, каким трудным было его положение во время следствия. После того, как версия о том, что Солженицын перемудрил от чрезмерной своей книжности, не нашла признания у Езепова, Александр решил создать о себе впечатление как о некоем обывателе, по-мелкому недовольном властью, но в сущности безвредном.

Александр даже говорил следователю, что был рад «...аресту в начале 1945 года, а не в 1948-м или 1950-м, ибо не знает, на какую глубину залез бы он в статью

58-10 и 11 в обстановке столичной жизни, в литературных и студенческих кругах». (Об этом он писал мне в августе 45-го года.)

Естественно, что, рисуя себя таким «нытиком и ворчуном», он и на своего друга Кирилла, с которым делился своими настроениями, невольно бросил тень...

Рассказав мне об этом, муж добавил:

— Может быть, я плохо придумал. Но я хотел сделать лучше. Но в общем-то ничего страшного не было. Кирилла-то не посадили...

В ту пору я не имела контактов с Кириллом. Сейчас, работая над книгой, я решила узнать его точку зрения на эту историю.

Кирилл ответил, что считает поведение Сани не таким уж безобидным. Симоняна не раз вызывали, расспрашивали об отношениях с Саней. Однажды ему показали целую ученическую тетрадку, исписанную характерным — с другим не спутаешь — почерком Солженицына.

Смысл всего написанного сводился к следующему: Кирилл Симонян — враг народа, непонятно почему разгуливающий на свободе.

Когда Кирилла спросили, чем он может объяснить такие показания, он ответил, что, как врач, объясняет их «сшибкой сознания». Саня был в тюрьме, Кирилл — на свободе, а потому в Саниных восприятиях и суждениях многое гипертрофируется...

— Но, может быть, ты сам заблуждаешься. В тот момент эти показания потрясли тебя и ты придал им слишком большое значение. А на самом деле речь шла о всякой чепухе, на которую не обратили внимания. Ведь все закончилось благополучно? — спросила я.

Кирилл пожал плечами и не ответил.

А теперь вот еще и Николай...

Мы беседуем обо всем этом с заглянувшей ко мне приятельницей.

И как бы ни хотелось мне не верить, а разум подсказывает, что Виткевич, наверное, прав. А может быть, не только о Николае и Кирилле сказал Александр лишнее на следствии?.. И я признаюсь приятельнице, что не буду удивляться, если узнаю, что и на меня муж наговорил небылиц на следствии.., «...избежал кого-нибудь посадить. А близко было...»

Пряательница распрощалась и ушла. Я снова слушаю радио и... Напророчила! Далекий голос сообщает об утверждении Виткевича, что Солженицын на следствии оклеветал даже свою собственную жену!!!

Скорее раздобыть полный и подлинный текст Виткевича! — Пить чашу горечи — так пить до конца! Друзья достают мне копию его официального письма.

Николай, в отличие от меня, не пытался восстановить истину путем анализов и сопоставлений. Ему это было не нужно. Оказалось достаточным вспомнить протоколы следствия, которые он, как выяснилось, читал. В тот самый день, что назван им «самым ужасным в жизни». Из этих протоколов он «узнал», что в свое время «пытался создать нелегальную организацию... С 1940 года систематически вел антисоветскую агитацию... разрабатывал планы насильственного изменения политики партии и государства, клеветал (даже «злбно» (!) на Сталина». Николай не верил своим глазам, читая, что вся наша «пятерка» — это антисоветчики, занимавшиеся этой деятельностью еще со студенческих лет. И не только мы, но и... некто Власов.

Я-то знаю, что это за Власов.— Морской офицер, с которым к той поре и знакомства-то по-настоящему у Александра не было. Они были попутчиками в поезде Ростов — Москва весной 1944 года и все. Потом изредка переписывались... О Власове действительно шла речь на следствии. Это я знала от мужа. Он рассказывал мне, что Ленья Власов «спас» себя письмом, которое пришло к Солженицыну в часть уже после его ареста и было переслано следствию. Письмо это капитан Езепов сам прочел мужу. Там была фраза: «...не согласен, что кто-нибудь мог бы продолжать дело Ленина лучше, чем это делает Иосиф Виссарионович». Вот почему Власова даже не допрашивали!

Все сходится...

Вскоре я повидалась с Леонидом Владимировичем Власовым.

Он читает официальное письмо Виткевича.

«...Солженицын сообщил следователю, что вербовал в свою организацию случайного попутчика в поезде, моряка по фамилии Власов и тот, мол, не отказался, но даже назвал фамилию своего приятеля, имеющего такие же антисоветские настроения...»

— Ну и гусь! — невольно вырвалось у Леонида Владимировича.

Я не верю ушам своим.— Власов говорит:

— Фамилия этого человека Касовский.

Откуда он знает это? Догадался без труда. Когда-то в поезде он рассказывал Солженицыну о своем приятеле, называл его фамилию. (Разумеется, об антисоветских настроениях в офицерском вагоне в 1944 году мог бы говорить лишь сумасшедший или самоубийца). Много лет спустя, когда Власов возобновил знакомство с Солженицыным, его не могло не удивить, что в самом первом письме к нему Солженицын упомянул об «Оссовском».

А теперь это стало Власову понятно.

И стала более ясной картина, скупко обозначенная несколькими строками письма Виткевича:

«...конец протокола первого допроса. Следователь упрекнул Солженицына, что тот неискренен и не хочет рассказать все. Александр ответил, что хочет рассказать все, ничего не утаивает, но, возможно, кое-что забыл. К следующему разу постарается вспомнить. И он вспомнил».

Вспомнил «все»... Вплоть до случайно услышанной фамилии.

Догадаться, как это произошло, совсем уже нетрудно. Признавшись, что он собирался создать организацию, Солженицын должен был рассказать, кого он собирался туда вовлечь. Когда были названы фамилии, естественно встал вопрос, почему он считал годными для этой цели именно этих людей. Нужно было мотивировать. И нужно было «не сердить следователя». Доказывать ему, что подследственный «прост, приbedнен, открыт до конца». Так на одну сторону весов было брошено хорошее впечатление, которое нужно было создать у следователя. На другую — 5 или 6 человеческих судеб..

Власов тут же высказал предположение, что оправдание своему поведению Солженицын видел в своем особом предназначении... Не знаю. Не берусь судить.

Мы с Власовым стали листать письма Александра к нему 62—63-х годов и нам бросилась в глаза фраза: «Обстановка культа была такова, что самый лучший человек из самых лучших побуждений мог погубить невинного».



Виткевич был арестован перед самым концом Солженицынского следствия. Получил он 10 лет. На 2 года больше, чем Солженицын. Остальным повезло.

Правда, это не согласуется с «теорией» Солженицына, что достаточно было назвать имя человека с добавлением в его адрес любого, самого абсурдного обвинения и тот оказывался в лагере. Но, надеюсь, он не жалеет, что ошибся в безупречности своей теории и что мы остались на свободе.

Вот и все. Возможно, что стройной картины следствия у меня так и не получилось. Но стало ясно одно: проходило оно не совсем так, как пишет об этом Солженицын в «Архипелаге». В том самом «Архипелаге», где столько претензий на «голос правды» и «подлинную истину».

Вместо правдивого рассказа о своем следствии — умалчивание сути, многозначительные, но малозначащие фразы, которые не проясняют, а затуманивают картину. Зачем?..

Я думаю об этих очередных солженицынских «ножницах» и вспоминаю слова Адама Ройтмана из «Круга первого»: «С кого начинать исправлять мир? С себя или с других?..»

\* \* \*

Работу над большой повестью о войне — «Шестой курс» прервал арест, который без подготовки, без экзамена перевел Солженицына на следующий седьмой курс. Он никогда уже не захочет возродить главы «Шестого курса», над которыми когда-то просиживал ночи напролет.

Зато все, что будет пережито им в этот новый период его жизни, узнано на «седьмом курсе», ляжет в основу практически всех его произведений. Повесть, роман, пьеса, сценарий...

Самый первый лагерь, при кирпичном заводе в Новом Иерусалиме под Москвой, промелькнул быстро (всего три недели). Здесь Солженицын пытался применить приобретенное на фронте умение руководить людьми. Ведь мы как-то всегда стремимся продолжить нашу привычную жизнь, не сбиваться или, если нас сбили, как-то вернуться на уже испытанную колею!..

Солженицын еще не понял, что эта колея неизбежно должна была провалиться под ногами на новой, незнакомой почве. Законы и понятия известного ему мира он пытался перенести в мир неизвестный, противоположный всему, что он знал раньше.

Его первая попытка вписаться в новый мир таким, каким он был на фронте, быстро закончилась неудачей. В конце августа 45-го года муж писал, что с командной должности он уже слетел. Работал на разных черных работах, но в перспективе метил все-таки попасть «на какое-нибудь канцелярское местечко. Замечательно было бы, если б удалось...»

Надо выжить! Надо найти свое место в этом новом малопонятном мире!.. И право же, не грех начать с того, чтобы пожить в «придурках»!..

В письмах ко мне муж жалуется, что хотя работает он 8 часов в сутки, но времени не остается, за исключением часов 3-х в сутки, которые мог бы использовать на чтение или на какое-либо полезное занятие. Мешает душевная усталость, забитость головы каким-то тягучим месивом тупости, шум в комнате, отсутствие книг и бумаги.

Но в Солженицыне побеждает оптимист. И снова планы, планы, планы.

Он думает всерьез заняться изучением английского языка, просит привезти ему побольше чистой бумаги, карандашей, перьев, чернил в чернильницах-непроливайках, английские учебники и словари.

Но раньше, чем эта просьба была выполнена, Саня уже был на стройке в Москве.

В московском лагере на Большой Калужской Солженицын пробыл немногим более 10 месяцев. Во многом этот лагерь запечатлен им в пьесе с окончательным названием «Олень и шалашовка».

Свою жизнь в этом лагере, где работали как «политические», так и «блатные», как зэки, так и вольные, как мужчины, так и женщины, Александр Солженицын начал об руку со своим литературным героем Родионом Немовым. Оба они — недавние фронтовики, а еще раньше — студенты МИФЛИ. На обоих — офицерские гимнастерки со следами от бывших орденов и долгополые шинели; по-лагерному это «олени».

Литературный двойник Солженицына говорит:

«Гражданин начальник! Я — фронтовой офицер, опыт руководства людьми имею, в делах производства постараюсь разобратся».

И его назначают заведующим производством.

В маленькой голой комнате с дверью из свежей неокрашенной фанеры два стола. На стене около каждого — дощечки. На одной: «Зав. производством», на другой — «Нарядчик». За первым столом в шерстяной офицерской гимнастерке сидит зав. производством. Начальник лагеря уехал, оставив его своим заместителем и с наказом во что бы то ни стало поднять производительность труда.

Он быстро находит резервы. Вдвое сократить хозобслужу лагеря. Из бухгалтерии, кухни, бани, больницы всех лишних — на работу.

За несколько дней производительность повысилась на восемь процентов.

«Бездельника зуботехника — на общие!.. Обслужу лагеря — прижать! Дополнительные пайки перераспределить!»

Но совместными интригами бухгалтера и доктора Немов устранен с должности заведующего производством. С такой же должности слетел и Солженицын! Он перестал быть начальником, но остался сидеть сначала за письменным столом...

В лагере на Калужской з/к Солженицын пробыл менее года, но казалось ему, что гораздо дольше.

Солженицын был вырван из своей определенности, из своей заданности. Отсюда и полное неприятие происшедшего. Тюрьма, последовавший за ней лагерь были восприняты Солженицыным как нелепейшая случайность в его жизни, как совершенно инородное тело, вошедшее в его жизнь и причиняющее непрерывную боль. Как всякое инородное тело, — тюрьма должна быть убрана из его жизни! Остаться лишь досадным воспоминанием! От этой мысли он не может избавиться. Но сам он не властен, не может вырвать из себя это инородное тело, раздражающее его. А потому легко поддается иллюзиям, заражается тюремными и лагерными «парашами», в которых недостатка нет.

Они пробуждают надежду, поднимают дух, вселяют веру...

Люди, оказавшиеся беспомощными против вмешавше-

гося в их жизнь закона, не могут не тешить себя иллюзиями.

В одной из камер Лубянки 9 мая 1945 года, в День Победы, старик-армянин из Румынии молился: «О, амнистия, амнистия!..» Остальные пять человек, бывших в камере, не умели молиться, но та же жажда амнистии наполняла и их сердца. Был среди них и мой муж.

7 июля 45 года амнистия и в самом деле была объявлена. Увы, она не коснулась 58-й статьи.

И все же надежда, даже уверенность, что она вот-вот будет, не покидала многих, не покидала и Солженицына.

Начиная с самых первых его писем эта надежда на амнистию тянулась и тянулась длинной нитью.

«...вся надежда на близкую широкую амнистию, о которой ходит столько слухов»,— пишет он в августе 1945 года.

«Основная надежда — на амнистию по 58-й статье. Думаю, что она все-таки будет» (это из Нового Иерусалима).

Но прошли и ноябрьские праздники 45-го года, а амнистии не было. Вера в нее угасает.

Весной 46-го надежда снова ожила.

«Я со 100% достоверностью все-таки убедился, что амнистия до 10 лет была подготовлена осенью 45-го года и была принципиально одобрена нашим правительством,— пишет он мне в марте 46 г.— Потом почему-то отложена».

Здесь любопытно характерное для Солженицына «Я со всей достоверностью убедился». Немного нужно было и тогда и в других случаях, чтобы убедить его со всей достоверностью. Главное всегда заключалось в том, что он или «принимал» что-то или что-то «отвергал». Это и был критерий достоверности.

Идут месяцы. Чуть ли не в каждом письме — новые надежды.

«Сегодня очень ждали,— пишет он мне в годовщину Победы.— Хотя слухи и не сходились на 9-м, все же с 9-го и теперь еще недельку-другую возможный для нее срок. У всех такая усталость, как будто ее в газетах обещали на сегодня».

И лишь по прошествии полутора лет заключения Саня делится со мной:

«Когда заговорят об амнистии — усмехнусь криво и отойду».

Итак, амнистия не коснулась Сани. Не помогло и мое обращение к адвокату Добровольскому, заявление с просьбой о пересмотре дела.

Перелом в лагерной судьбе Сани пришел с другой стороны.

Летом 1946 года его возвращают в Бутырскую тюрьму, а оттуда везут в Рыбинск, где он получает работу по своей специальности — математика. «И работа ко мне подходит и я подхожу к работе», — пишет мне Саня оттуда.

Ему вспоминается любимая им в детстве сказка. Олень гордился своими прекрасными ветвистыми рогами и не любил своих тонких, «как жердочки» ног. Но именно быстрота ног выручала оленя, когда он спасался от волков, а рога, запутавшиеся в лесной чаще, погубили его. Сказка повторилась в жизни. «Литературные рога» привели Солженицына к беде, а нелюбимые «математические ноги» пришли на выручку.

В марте 1947 года Саню переводят в Загорск, а в июле он снова оказывается в Москве. На этот раз — в научно-исследовательском институте, неподалеку от того места, где ныне поднялась на полкилометра ввысь Останкинская телевизионная башня. В ту пору местность эту называли еще по имени стоявшей здесь почти до самой войны деревеньки Марфино.

Три года, проведенных в «марфинской» спецтюрьме, или на языке заключенных — «шарашке», дали Солженицыну материал для романа «В круге первом».

## Марфино и Маврино

Из писем и разговоров на свиданиях у меня постепенно вырисовывалась довольно полная картина жизни мужа в Марфинской спецтюрьме, названной в романе «В круге первом» — Мавринской.

Комната, где он работает, — высокая, сводом, в ней много воздуха. Письменный стол — со множеством ящиков — закрывается на подвижные падающие шторы — «канцелярское бюро». Совсем рядом со столом окно, открытое круглые сутки. У стола — колодочка, четыре штепселя. В один из них включена удобная настольная лампа, в другой — собственная электрическая плитка, пользоваться которой можно неограниченно, в третий — хитроумный электрический прикуриватель, чтобы не изводить подаренную мною зажигалку. В четвертый — переносная лампа для освещения книжных полок. Скоро появится здесь и радиопроводка, прямо у рабочего места.

Тут Саня проводит большую часть суток: с 9 утра до конца работы. В обеденный перерыв он валяется во дворе прямо на траве или спит в общежитии. Вечером и утром гуляет, чаще всего под полюбившимися ему липами. А в выходные дни проводит на воздухе 3—4 часа, играет в волейбол.

Общежитие: полукруглая комната с высоким сводчатым потолком бывшего здесь когда-то алтаря. Веером, по радиусам полукруга — двухэтажные кровати. Возле Саниной — на тумбочке — настольная лампа, которую он

оборудовал так, чтобы свет не мешал товарищам, а падал только на его подушку. До 12 часов Саня читал. А в пять минут первого надевал наушники, гасил свет и слушал ночной концерт.

На «шарашке» у него завелись новые наушники. А потому свой прежний наушник Саня отдал мне. В шутку я называла его своим «любовником», потому что он всегда был рядом с моей подушкой.

Утром, без четверти восемь, из громких наушников соседей доносился звук, который будил мужа. Это — знакомый ему с детства горн на побудку, начало передачи «Пионерская зорька».

«Наверно никогда еще я не жил в отношении мелочей быта так налаженно, как сейчас», — писал Саня мне в сентябре 47-го года. И, как ни странно звучат эти слова, от письма веяло каким-то уютом, благополучием, спокойствием. И хотелось, чтобы Саня долго еще, хорошо бы до самого конца срока, оставался в этом заведении на окраине Москвы, рядом с Останкинским парком.

Спецтюрьма «Марфино» помещалась в старинном здании бывшей семинарии. Долгое время тут был детский дом. А вскоре после войны сюда вселился Научно-исследовательский институт связи, для работы в котором стали привлекать и заключенных. Среди них были физики, математики, химики, представители чуть ли не всех научных специальностей.

Идея использовать труд заключенных-специалистов для научных исследований возникла еще в начале 30-х годов.

Крупный теплотехник профессор Л. Рамзин был приговорен к расстрелу как глава контрреволюционной «Промпартии». Расстрел заменили 10 годами заключения. И Рамзин возглавил теплотехническую лабораторию в первой такой спецтюрьме. С чьей-то легкой руки ее окрестили «шарашкой». А позже «шарашками» начали называть другие специальные тюрьмы. Условия жизни в этих тюрьмах, обращение с заключенными были, конечно, необычными.

Марфинский институт специализировался на исследованиях в области радио- и телефонной связи. Саня работал в нем главным образом как математик. Однако время Сани было посвящено не только этому. Все, кто читал роман «В круге первом», это знают. Солженицын

мог выкроить достаточно времени для чтения и самостоятельных занятий.

Работа Сани не требовала от него особого напряжения, но задавала определенный ритм жизни и помогала сокращать время заключения. Настроение у него чаще всего ровное и бодрое. Распорядок жизни строго размерен, и потому дни проходили в работе очень быстро. В одном из писем Саня писал мне: «Работа так заполняет время и мысли, что недели мелькают, как телеграфные столбы мимо поезда».

Из «Круга» мы знаем, что обитатели «шарашки» были вполне сыты. А можно и добавить! Заключенные покупали продукты. Саня покупал себе, например, картошку. То сам варил ее или жарил, а то отдавал на кухню испечь в духовке...

Передачи в то время носили скорее символический характер и приурочивались к нашим семейным праздникам.

Что касается вещей, то теперь ему понадобились не валенки и не теплая одежда, а часы.

При арестах часы изымают. А здесь они к нему вернулись! Время снова вернулось.

Годы, проведенные в Марфино, Солженицын старался использовать для пополнения знаний. В какой-то степени в «шарашке» продолжилась мифлийская линия его образования. Соседом его в лаборатории и ближайшим другом вскоре становится Лев Копелев, в прошлом доцент того самого МИФЛИ, позже выведенный в «Круге» под именем Льва Рубина. Беседы с Копелевым, круг его чтения и литературных интересов в какой-то степени влияют на Александра.

В Марфино неплохая библиотека. Кроме того, можно получить все желаемое по заказу из Ленинской библиотеки. Проблема уже не в том, как раздобыть хорошую книгу, а в том, как отобрать нужное из большого количества.

Начал было опять заниматься языками, но так много появилось «чтива на русском языке» («тут за 2 года всего не расхлебашь»), что на иностранные языки времени уже не оставалось.

Что касается художественной литературы, то Саня читал ее «с жестоким выбором, только очень больших мастеров».



«Посасываю потихоньку 3-й том «Войны и мира» и вместе с ним твою шоколадку»,— пишет муж в октябре 47-го года.

Здесь, на «шарашке», в полной мере открылся ему Достоевский. Он обращает мое внимание на Ал. К. Толстого, Тютчева, Фета, Майкова, Полонского, Блока. «Ведь ты их не знаешь»,— пишет он мне и тут же, в скобках, добавляет: «Я тоже, к стыду своему».

С увлечением читает он Анатоля Франса, особо выделяя его «Восстание ангелов». В ту пору он ставит его выше всех французских писателей. Считает, что много потерял, не поняв его в детстве.

Восторгается книгами Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок» и со своей любовью к классификации тут же зачисляет их авторов в «прямых наследников Чехова и Гоголя».

Одно из точно избранных направлений — регулярное чтение Далевского словаря, к которому он пристрастился еще в Загорске. Третий том Даля — в его личном владении — «как с неба свалилось такое золото! Вот уж поистине на ловца и зверь бежит!»

Чтение Даля производит на Саню потрясающее впечатление. Он пишет, что был как бы «плоским двухмерным существом» и вдруг ему «открыли стереометрию».

Когда-то Саня написал мне, что в будущем видит себя только преподавателем.

Но, с другой стороны, узнав, что у Ильи Соломина остались кое-какие его книги и записи, он просит, чтобы Соломин «во что бы то ни стало сохранил томик стихов Есенина и записи по Самсоновской катастрофе 1914 г.— пока нельзя будет с рук на руки переслать в Москву, а то как бы не затерялись в дороге».

Значит, мечта об историческом романе не оставлена?!

О «тайных» занятиях Солженицына в то время знали разве что ближайшие друзья его по «шарашке» — Копелев и Панин. Но Солженицын не скрыл их от читателей «Круга первого». — По вечерам, «обложась бугафорией, под затаеннолюбящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Рубина» Нержин мельчайшим почерком делал выписки из исторических книг, записывал и свои мысли на крохотных листиках, «утонувших меж служебного камуфляжа».

Постепенно эти занятия начнут соперничать с основной работой, где поневоле приходилось уже «тянуть резину».

Рано или поздно это должно было плохо кончиться!

Пользуясь возможностью слушать радио, Саня начинает усиленно пополнять свое знакомство с музыкой.

Никогда прежде музыка не играла в его жизни такой роли, как в годы, проведенные в «шарашке».

Саня охотно делится со мной своими музыкальными «открытиями», старается перечислить мне все, что ему особенно нравится. Как-то пишет мне, что с особенным удовольствием прослушал 2-ю часть 2-го концерта Шопена, «Думку» Чайковского, свою любимую «Вальпургиеву ночь», цикл Рахманиновских симфоний и концертов. Причем особенно понравилась ему 2-я часть и блестящий финал 2-го концерта Рахманинова. То пишет, что с наслаждением слушал концерт для скрипки Чайковского, «Вальс» Скрябина, «Токкату» Хачатуряна. А то сообщает об «открытии» двух чудесных сонат, которые были ему дотоле неизвестны: 17-й Бетховена и фа-диез-минорной Шумана.

Со временем обитателям «шарашки» начинают по воскресеньям демонстрировать кинокартины. Саня так по кино соскучился (больше 6 лет не видел), что первый фильм «Сказание о земле Сибирской» просмотрел 2 сеанса подряд.

Чего не хватает — так это театра. Правда, по радио Саня как-то прослушал мхатовскую постановку пьесы А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». «Прекрасная вещь и какой язык! — пишет он мне. — Удастся ли когда-нибудь увидеть это на сцене?»

Он жадно спрашивает меня в письмах о моих театральных впечатлениях: о МХАТе, о «Воскресении» Толстого, о том, как удалась его переделка. Сам он относится к этому скептически, вспоминая, что «старик Толстой был противник всяких таких переделок».

«Представляю, — иронически восклицает он, — если бы его посадили слушать оперу (!) «Войну и мир» — как раз в «Войне и мире» он издевался над условностью оперного искусства...»

Солженицыну в ту пору не могло прийти в голову, что опера «Война и мир» Прокофьева станет со временем украшением первой сцены нашей страны. Сам Солжени-

цын через 12 лет с неослабеваемым восторгом прослушает ее в Большом театре, где наш тогда общий друг Мстислав Ростропович будет стоять за дирижерским пультом.

Наконец, очень серьезным объектом для изучения были у Солженицына люди, с которыми столкнула его в Марфинском институте судьба. Если чья-то судьба казалась ему примечательной, он удерживал ее в своей памяти, в которую к тому времени поверил.

«Мужчины, выдающиеся по уму, образованию и опыту жизни», — так характеризует их Солженицын, — конечно, должны были произвести большое впечатление на в общем-то провинциального молодого человека, до этого не так много повидавшего.

Думается, что не без их влияния стала складываться у Солженицына и та своеобразная система взглядов, которая найдет свое наиболее полное выражение в «Архипелаге».

Там, в неволе, — своя историография и свое отношение к политике, свои мифы и свои святые. «Науки» здесь не писанные, а исключительно устные и роль документа и цитаты играют в них рассказы «бывалых людей», «свидетельства очевидцев», а то и слухи и анекдоты.

Так, к примеру, бродила десятками лет по лагерям побасенка о чудесном спасении царского брата Михаила или «точная версия» биографии Сталина, легенда о покушавшейся на Ленина эсерке Каплан или оценка давно исчезнувшей партии «октябристов».

Со своей колокольни, с точки зрения влияния на их собственную судьбу, оценивали иные «выдающиеся мужчины» и события более близких времен: и победу над Германией, и послевоенную напряженность в Европе. Одним из основных критериев при этом была несхожесть оценок с официальными или общепринятыми. Тот, кто высказывал мысли, сходные с тем, что можно было прочесть в обычной книге, в газете, услышать по радио, мог быть уверен, что будет зачислен в несмышленные новички, в примитив — если не похуже. И, наоборот, чем больше отходила точка зрения от общепринятой «на воле», тем сильнее вырастал ее автор в глазах окружающих.

Приведу хотя бы такой пример. Александр был твердо уверен, а впоследствии и написал об этом в «Архипелаге», что все, мол, находившиеся в гитлеровских лаге-

рях смерти советские военнопленные прямым маршрутом направлялись в лагеря за колючей проволокой. Когда я рассказывала ему о людях, прошедших немецкий плен и оставшихся на свободе, Солженицын находил это очень странным. Для него они были исключения. Образы пленных мелькают то и дело на страницах книг Солженицына.

Иван Денисович наказан за то, что попал в плен. Следовательно, не стал утруждать себя и просто записал «шпион», не конкретизируя содержание преступления. Видимо, не раз слышал Солженицын от людей, которым было что скрывать, рабочую гипотезу о том, что самого факта пребывания в плену было достаточно для осуждения.

Я читала «Архипелаг», когда его печатала. У меня есть определенное мнение по поводу этой книги, и вызывает некоторое удивление то, как к ней отнеслись на Западе.

Там «Архипелаг» принят как истина в последней инстанции. Это не так даже с формальной точки зрения. В книге есть подзаголовок «Опыт художественного исследования». Иными словами, сам Солженицын не претендует на то, что это исследование историческое, исследование научное. Очевидно, что метод художественного исследования и метод научного исследования основаны на разных принципах. Материал для «Архипелага» во многом дали Александру Исаевичу те разговоры, которые он вел в «шарашке», в пересыльных тюрьмах и лагерях. Эта информация, которую он получал, носила фольклорный, а подчас и мифический характер.

Цель «Архипелага», как я представляла ее в процессе создания,— это, по существу, не показ жизни страны и даже не показ быта лагерей, а сбор лагерного фольклора. К тому же в период, когда я знакомилась с этими записками, они не предназначались для печати при жизни автора.

На Западе же, на основании этого ненаучного анализа, склонны делать выводы, касающиеся глобальных проблем. У меня складывается впечатление, что там переоценивают значение «Архипелага Гулаг» или дают ему неправильную оценку.

В «Архипелаге» снова сказались одна, я бы сказала, доминирующая черта в характере Александра Исаевича

ча — его способность верить в то, во что ему хочется верить, что вписывается в его концепции. Александр верил безоговорочно в любой рассказ, им не противоречащий.

Позволю себе вспомнить профессора Кобозева. Меня поражало в нем то, что он любил результаты, которые не укладывались в его теорию. Они будили его мысль, заставляли его делать новые предположения, выдвигать новые гипотезы, искать новые пути в науке. Вот в этом плане Александр Исаевич — полная ему противоположность. Как только он находит идею, его интересуют только то, что свидетельствует в ее пользу. Остальное он просто отменяет.

Я испытала огромное удовлетворение, когда нашла подтверждение своим мыслям в очень серьезной книге профессора Кобозева, вышедшей в Издательстве Московского университета в 1971 году, «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления».

«Упорядоченность и неупорядоченность, определенность и неопределенность, хаос и порядок есть наиболее общие свойства действительности».

«Всякое явление двойственно, оно содержит в себе некоторую векторную, направленную, и некоторую броуновскую, хаотическую, компоненту».

«Броуновская компонента играет двоякую роль. Она не только компонента неупорядоченности, но и компонента поиска. Броуновское рассеяние, отклонения организма от намеченной векторной траектории (намеченной, может быть, даже и ошибочно), сталкивает его с новыми элементами действительности, могущими быть ему полезными, т. е. сообщает ему разнообразную информацию».

«Некоторая умеренная доля броуновского разброса и за счет этого получение дополнительной информации так же необходима, как большая степень направленности».

Н. И. Кобозев приводит нас к выводу, что объект должен соприкоснуться с достаточным разнообразием элементов действительности, совмещая это с направленностью его действия! — вот как должна строиться жизнь и работа ученого, писателя, художника, любого человека, являющегося творческой личностью!

Чрезмерная векторность, пренебрежение броуновской

компонентой поиска мстят и ученому и художнику, делая его пристрастным в оценках и необъективным в выводах.

Основные персонажи романа «В круге первом» — те, кто был ближе к автору в тех стенах. Это — Николай Андреевич Потапов, так же как и Нержин, являющийся одним из «основателей» «шарашки», вскоре прибывший туда Дмитрий Панин (в «Круге» — Сологдин), затем Лев Копелев (в романе — Лев Рубин), художник Сергей Михайлович Ивашев-Мусатов, переименованный в «Круге первом» в Кондрашева-Иванова.

Когда неисповедимыми путями в тот же Марфинский институт из далекой Инты в 48-м году прибыл Николай Виткевич, бывшая дружба между бывшими «сэрами» не восстановилась. Внешне они были дружны: кровати они выбрали рядом, были в курсе дел друг друга, делили повседневность, но той захватывающей дружбы, которая достигла апогея на фронте, уже не было.

\* \* \*

Прочитанные книги, увиденные кинофильмы часто вызывают у Солженицына ассоциации, бередят совесть.

Как-то он пишет мне о своем впечатлении от пушкинской «Русалки». Расстроившись от первой сцены, в которой князь так бессердечно поступает с дочерью мельника, и задумавшись над ней, Саня невольно почувствовал «мучительный укор себе». Он упрекает себя в жестокости по отношению ко мне, и, хотя эта жестокость «имела другие причины, другие формы, но,— готов вынести он себе приговор,— была ли она от этого менее жестока?» И сокрушается: «Да неужели же десять раз надо прожить жизнь от начала до конца, чтобы только на одиннадцатый раз прожить ее как надо, чтоб не жалеть, не мучиться над своими прошлыми поступками».

Солженицын начинает воспринимать чужую боль. Посмотрев фильм «Мичурин», он дважды в письмах ко мне пишет о том сочувствии, которое вызвала у него судьба жены Мичурина, по отношению к которой тот был большим деспотом. Сразу после просмотра ему «бесконечно жаль жену Мичурина», а четыре года назад он бы «не понял так глубоко всю трагедию ее жизни, как понимает теперь».

Уже в другом письме, говоря о другом фильме, о «Сельской учительнице», который тоже произвел на него большое впечатление, он, перебивая сам себя, снова возвращается к «Мичурину». Спрашивает, писал ли он мне, «что над некоторыми кадрами «Мичурина» — судьбой его жены и историей их отношений — просидел с незарастающей, непоправимой — или поправимой еще? — шемящей болью в сердце».

В смягчении своего характера, в оттаивании своего сердца, Саня находит оправдание своему несчастью: «Идут годы, да, но если сердце становится лучше от пережитых несчастий, очищается в них — то годы проходят недаром».

«Может быть, если приведется когда-нибудь зажить счастливо, я опять стану бессердечным? Хоть и не верится, а ведь все может быть».

Как бы хотелось, чтобы собственные опасения Солженицына никогда не оправдались! Чтобы не сдал он в каптерку вместе с тюремной одеждой и самые лучшие порывы своей души!..

Веры у Солженицына еще нет. Но есть суеверность. Причем, как у математика, суеверие приобретает у него математическую окраску. Он пишет мне, что очень верит в таинственное значение цифр. Дата, конечно, должна оправдать себя во многих повторениях, но у него в жизни это оправдалось. И хотя не всегда счастливыми, но значительными, поворотными датами были 9, 18, 27, то есть числа, кратные девяти. Саня даже высказывает предположение, что, наверно, он и умрет « $9 + 18 + 27 = 54$ -х лет», т. е. в 1972 году.

И еще в одном отношении научается Солженицын в эти годы жить не так, как жил прежде. В конце 49-го он пишет мне, что настроен ровно, что «прежнего торопливо-судорожного отношения к жизни» у него не осталось.

Наконец-то живет Солженицын в ладу с временем! И вот и нет ни необдуманных поступков, ни опрометчивых решений, ни бессердечия!

Увы, то «торопливо-судорожное» отношение к жизни, с которым Солженицын расстался в тюрьме, постепенно, по мере удаления от тюремно-лагерных лет, снова начало к нему возвращаться. В Кок-Тереке, куда был сослан, он жил еще спокойно. В период нашего с ним «тихого

жизнью» оно уже начинает проявляться. А уж когда придет известность — трудно сказать, чего в жизни Солженицына станет больше: торопливости или судорожности...

\* \* \*

Вероятно, то короткое время, когда оба мы снова стали «москвичами», те два года — с лета 47-го до лета 49-го — были самыми счастливыми годами в нашем несчастье.

Мы постоянно обменивались письмами и как-то очень чувствовали жизнь друг друга. Саня принимал близко к сердцу все мои дела, давал советы, подбодрял. А мне казалось, что все то, что я делаю, я делаю не только для себя, но и для него. Так приятно было порадовать Саню моими маленькими победами: хорошо сданным экзаменом, удачно прочитанной пробной лекцией, похвалой профессора.

Письма еще и согревали нас, поддерживали наше чувство друг к другу. А уж свидания были для нас настоящим праздником!

Когда Сане объявляли о предстоящем свидании, он весь отдавался «предсвиданному настроению». Как-то писал мне, что вечером, после работы, долго гулял во дворе, смотрел на луну, мысленно представлял себе будущий наш разговор и думал о том, что и я, вероятно, уже знаю о свидании и думаю о нем «больше, чем о своей диссертации».

Не только я заботилась перед свиданием о своем внешнем виде, о своей наружности. Саня сообщал мне, например, что, помыв голову, ходит «в чалме из полотенца, чтобы волосы завтра как следует лежали». Пишет, что вечером побреется, вычистит ботинки...

Я надеялась, что свидания у нас будут в самом Марфино, и была очень огорчена, когда получила разрешение на первое же свидание в Таганскую тюрьму.

Приехала в Таганку пораньше. Узнала, что свидание будет в клубе для служащих тюрьмы. Вход в него прямо с улицы. Там уже стояло несколько женщин. Через некоторое время подъехала никакая не «страшная машина», а небольшой автобус, из которого вышли наши мужья, вполне прилично одетые и совсем не похожие на



заключенных. Тут же, еще не войдя в клуб, каждый из них подошел к своей жене. Мы с Саней, как и все, обнялись и поцеловались и быстренько передали друг другу из рук в руки свои письма, которые таким образом избежали цензуры.

Как тянет делиться большим горем, так хочется делиться и большой радостью. И я еду к Лиде и Кириллу. (К тому времени они были женаты.) Выговорившись, слушаю музыку: у них много чудесных пластинок. А вернувшись на Стромынку, получаю телеграмму от мамы, что отпуск ей предоставлен и что скоро она придет ко мне. Я почти на седьмом небе! Разве можно чувствовать себя несчастной, имея такого мужа, такую маму, таких друзей?..

В ожидании свидания я познакомилась с Евгенией Ивановной Паниной — женой одного из лучших друзей мужа, и несколько раз ездила вместе с ней в Останкино. Адрес Марфинского института не должен был быть известен женам заключенных. А потому нам следовало бы проявлять бóльшую осторожность, чем мы это делали. В результате однажды нам с ней пришлось спастись бегством.

Мы, не торопясь, прогуливались по шоссе, возвышавшемуся над прогулочным двориком «шарашки» с натянутой на специальной площадке волейбольной сеткой, и нет-нет да поглядывали на играющих в волейбол. Вдруг какой-то человек, поравнявшись с нами, предложил нам предъявить паспорта. Я ответила, что сейчас не военное время, чтобы носить с собой паспорта, и отказалась следовать за ним. Когда он отошел от нас на приличное расстояние, мы свернули в сторону Останкинского парка и бежали по нему уже так, что только пятки сверкали.

Впредь мы были осторожней. Но совсем отказаться себе в том, чтобы «наведывать» своих мужей, не могли. Вместо того, чтоб гулять по шоссе, мы проникали в примыкавший к «шарашке» дворик и, дождавшись обеденного перерыва, в щелку забора наблюдали за отдыхающими зэками: или просто гуляющими, или лежавшими на травке, или играющими в волейбол, и старались отыскать глазами Митю или Саню.

Как-то, на обратном пути, нас застал дождь. Мы пережидали его в домике, недалеко от «шарашки», где жила молодая семья: муж, жена, ребенок.

— Вот оно, настоящее счастье! — сказала я своей спутнице.

Оказалось, что и муж и жена работают в «Марфино». Мы не скрыли, что там — наши мужья. «Не беспокойтесь о них, — успокаивала нас женщина, — их там хорошо кормят!»

О многом говорили мы с Евгенией Ивановной во время наших с ней прогулок и вообще встреч. И во многом оказались похожи...

Обе мы прочли в первых же письмах наших мужей, что они предлагают нам свободу, что не вправе губить нашу молодую жизнь, обе не захотели этим воспользоваться.

Как Солженицын, так и Панин в этом смысле не составляли исключения. Почти все мужчины, получавшие длительные сроки заключения, считали своим долгом в первом же письме или на первом свидании сказать: «Не жди меня! Выходи замуж!» И жены тут же чаще всего им отвечали, что будут ждать и не подумают выходить замуж... Но уже после этого мужчины вели себя по-разному. Одни ставили условием ожидания верность. Другие не возвращались больше к обсуждению этого вопроса вообще. Третьи пытались найти наилучший вариант для этого ожидания.

Вероятно, самым правильным было ничего не обсуждать, не советовать, не касаться этого вопроса ни в письмах, ни на свиданиях, если они бывали, и предоставить все течению жизни.

Наши с Евгенией Ивановной мужья подходили к этому рационалистически. Панин согласен был только на ожидание с неизменной верностью. Солженицын исписывал многие страницы на тему о том, ждать или не ждать и как ждать, давал разнообразные, часто взаимоисключающие советы и кончил тем, что сознался, что «сам запутался в противоречиях», сам не знает, «как же лучше».

Я ответила Сане, что нам надо «перестать жевать эту тему», что моя верность ему «не моя, а его заслуга», что я могла бы строить жизнь заново, если бы он был обыкновенным сереньким человеком, что мое чувство к нему «захлестнуло меня на всю жизнь».

Евгения Ивановна тоже считала своего мужа человеком необыкновенным.

Мы с ней обе не умели двоиться. Обе отличались той цельностью в любви, которая, должно быть, сослужила нам плохую службу... Но главным было то, что мы очень любили своих мужей и верили в их чувство к нам. Это и определяло наше поведение. А сознание того, что нас любят, скрашивало нашу жизнь, освещало ее от скрытого ото всех, никому, кроме нас, не видимого источника...

Как для эзков самым главным было дожить до свободы, так самой большой мечтой и главной целью любящих жен было — дождаться своих мужей! И разве могло прийти в голову этим женщинам, что их будущее определялось совсем и отнюдь не тем, дождутся они или не дождутся?.. Казалось, что все зависит от тебя, что нужно только дождаться. Что вернется муж — и все будет замечательно...

Для женщины освобождение мужа виделось в первую очередь как возвращение его к ней, в семью.

Для мужчин же их освобождение будет не только возвращением к семье, к жене. Это лишь частица того, что будет им возвращено. Их освобождение будет еще и возвращением в ту жизнь, которая для женщины была привычной, обыденной, а для них, давно забывших ее, — целым большим новым миром, хлынувшим на них и обдавшем их свежими, давно не испытываемыми впечатлениями, даже соблазнами... Им встретится много практических трудностей на первых порах, но найдется и много такого, что покажется привлекательным...

И вот вернется муж к постаревшей за эти годы, потерявшей свое былое обаяние жене, на лице которой слезы и все пережитое оставили свой отпечаток, положили тень печали и усталости... А на улице, на работе перед ним мелькают молодые, жизнерадостные, улыбающиеся женские лица... И его невольно начинает тянуть к ним в как бы заново начавшейся для него жизни. Хорошо, если у него доброе сердце, которое не может обидеть ту, которой так обязан!.. Хорошо, если у него цельная натура, не вмещающая в себя иного чувства, кроме того, которое когда-то и на всю жизнь он отдал своей жене!.. А если нет ни того, ни другого?.. Тогда подвиг женщины ляжет на мужчину тяжестью. И, может статься, рано или поздно (хорошо еще, если рано!) он сбросит ее с себя...

Как сложится жизнь у нас с Евгенией Ивановной, будет видно из дальнейшего... А у других жен «марфинских» эзков?..

Художника Ивашева-Мусатова не дожидается жена. Копелев проживет в своей семье немногим более года. По-настоящему вознаграждена за долгие годы ожидания из жен известных нам с читателем обитателей «шарашки» будет жена Потапова, Екатерина Васильевна. Такой сердечный и во всем собранный человек, как Андреич, не только не мог бы уйти от жены, верно и преданно заботившейся о нем все эти годы, он просто не мог бы полюбить никого другого. Дождавшись мужа, Екатерина Васильевна будет ездить с ним с одной стройки на другую. Создавая ему полный домашний уют, она в то же время будет его великолепным диспетчером, всегда зная, где именно находится ее муж в данный момент, и помогая звонившим ей по домашнему телефону его разыскивать. В этой роли мы с Александром Исаевичем будем наблюдать ее воочию летом 62-го года на строительстве Воткинской ГЭС на Каме.

Я знаю и другие примеры счастливого супружества людей, снова соединившихся после вынужденной тюремной разлуки. Расскажу лишь об одном, совсем не похожем на только что описанный.

Здесь тоже была преданность женщины, были заботы, было ожидание, но не было и помину монашеской жизни, не было верности в полном смысле этого слова. Однако никогда не покидала мечта дождаться своего самого любимого, который на время как бы освободил ее от себя. (Это «на время» — 10 лет!). Но она должна сохранить себя для него! Она должна жить полной жизнью! Хотя настоящая, ее истинная жизнь впереди, с ее Андреем! А пока она делает для него все, чтобы облегчить ему жизнь. Посылаются посылки, которые Вера Ивановна собирала со всем старанием, «как елку украшала». Пишутся письма: «Тебя люблю больше всех на свете. Как только кликнешь — все брошу и уеду к тебе!» Но пока за решеткой — не кликнешь! Даже свиданий в Потьминских лагерях не дают! Вера Ивановна жила с другим, когда узнала, что ее муж, отбывший половину срока, «списан по болезни». И она, еще молодая, красивая, энергичная, поехала и привезла к себе в Москву больного, изможденного, неузнаваемого. Попросту «скелет»!

Да разве эта женщина в самом начале его заключения не бросила бы Москву, не поехала бы в Потьму, если бы ей позволили там жить вместе с Андреем?.. О ее смелости, находчивости, даже дерзости можно судить по тому, как она, приехав в Потьму, тотчас же, когда узнала, что муж там, и не получив разрешения на свидание, храбро пошла в том направлении, где работали заключенные. То показывая фотографию Андрея, то называя его фамилию, она по указкам эзков и даже охранников дошла в конце концов до того места, где работал ее муж. Он сидел на крыше барака и крыл крышу. Удивленно таращившим на нее глаза эзкам она указала на того, кто ей нужен. Ее Андрей, обернувшись, так и обмер, увидев здесь, в зоне, свою Веру...

Другой раз, подойдя дома в Москве к телефону, она заказала разговор с Потьмой. Назвала соответствующий лагпункт, позвать — такого-то... Вероятно, подобный случай прецедента не имел. Ее мужа позвали к телефону. «Андрей?». «Вера, ты?..»

И вот 16 лет прожили они вместе после его освобождения. Их по-настоящему разлучила только его смерть. Незадолго до того он как-то сказал своей Вере: «Если бы я снова начинал жизнь,— я бы снова на тебе женился!»

А в общем: сколько людей — столько судеб. И в каждом отдельном случае происходило сложение очень многих причин и обстоятельств, сложение многих сил, определивших вектор жизни... жизни двух человек...

\* \* \*

Весь август 47-го года со мной на Стромынке прожила мама. Избавив меня от всех хозяйственных хлопот, усиленно подкармливала меня и вообще баловала так, как умела только она. Я за это время окрепла и заметно двинула свою диссертацию.

О том, чтоб уложиться в срок (к первому сентября), нечего было и думать! Выяснилось, что мне придется еще даже немного поработать в лаборатории.

Срок удалось продлить до 1 ноября. В результате мне продлили и московскую прописку и право жить в общестии еще на целый год.

Вопрос об оставлении меня в университете никак не разрешится. С 1 ноября стану бедной-безработной... Ни денег, ни карточек... Стараюсь всюду экономить хлеб. А потому к этой критической дате оказываюсь с запасом хлеба в две буханки и с несколькими сэкономленными талонами... Но век все же так не проживешь! И через некоторое время я купила себе... карточку, с которой и дожила до середины декабря...

Что было бы дальше, не знаю. Но в день, когда я использовала последний талон, были отменены карточки на все и навсегда!

Последний день своей аспирантской жизни я отметила тем, что сопровождала Шуру на вечере исторического факультета, посвященном Октябрю. Да еще явилась на вечер прямо от модистки, в новом темно-зеленом кашемировом платье, сшитом «японкой» (материал получила как-то по талону). Платье всем очень понравилось. Теперь была бы диссертация — защищать есть в чем! Пишу ее из всех сил, слава богу, пишется... Просидела над ней все ноябрьские праздники, даже у Лидочки не побывала. Но зато сразу после праздников отвезла около сотни страниц Николаю Ивановичу на проверку. А пока пишу дальше и заново учусь чертить. Черчением не занималась с самой школы, а теперь вот приходится самой делать все чертежи. Но предстоит еще эти чертежи фотографировать... Ведь ими надо снабжать все четыре экземпляра диссертации!..

У меня такая горячка, что не приходится удивляться моей крайней рассеянности во всем остальном, кроме диссертации. Саня замечает ее по огромному количеству описок; то лишних, то недостающих букв и целых слов в моих письмах. Однако этим дело не обошлось! Сане пришлось давать письменное объяснение, почему он превратился в Александра Давыдовича и почему от него требуют какие-то чертежи.

Я написала Санин адрес на открытке, предназначенной доценту Саратовского университета Александру Давыдовичу Степуховичу и, соответственно, наоборот. Под руководством Степуховича я в свое время в Ростовском университете выполняла курсовую работу. Для докторской диссертации ему требовалась специальная стеклянная аппаратура, и я помогала заказывать ее в стекловдушной Московского университета.

В свой очередной приезд в Москву Степухович, пережевая рассказ гомерическим хохотом, воспроизводил разыгравшуюся у него в доме сцену при получении моей открытки, предназначавшейся вовсе не ему.

Степухович знал, что мой Саня «пропал без вести» и был в некотором недоумении по поводу того, что у меня явно нежные отношения еще с каким-то Саней.

К концу ноября вся диссертация на проверке у Кобозева. То, что он прочел, им одобрено. Замечаний почти нет.

Работаю лихорадочно. Тороплюсь. Ведь я еще безработная. Если меня не возьмут в университет, то можно попробовать устроиться все же в Москве, но дохнуть некогда. И маме все приходится выручать меня.

Перед Новым годом отдаю Кобозеву всю диссертацию уже в напечатанном виде — на последнюю, окончательную проверку. Напечатаны и все таблицы, и все приложения. Предстоит еще только фотографирование чертежей. После чего — в переплет!

На радостях я даже покупаю маленькую елочку к общему восторгу всей нашей комнаты. Украшаем ее чем попало! На верхушке — серебряная пробка от винной бутылки, ниже — бублик, гирлянда из сахара, морковка, картошка, штопальный гриб, конфеты в серебряных бумажках, яблоки, мандарины, красивые пуговицы, луковицы, лекала, угольники, карандаши, авторучки, папиросы. Внизу — вата, посыпанная серебром. И получилась просто очаровательно! А еще — новый рубль по случаю недавно состоявшейся денежной реформы.

Возле этой елочки мы и встретили Новый год.

В связи с реформой 17 декабря у многих были огорчения. А вот жизнь зато резко изменилась к лучшему! Так вздохнули все без карточек! Что хочешь и когда хочешь и где хочешь покупаешь, обедать можно в любой столовой!

Вскоре после реформы зашла как-то на Малую Бронную, к тете Вероне. Они меня так накормили, как я не ела, кажется, с самого 40-го года...

В январе меня зачислили научным сотрудником в лабораторию Кобозева. Зарплата меньше аспирантской стипендии, но все же деньги начали «капать»... Я прошу маму больше мне не помогать и лучше питаться самим.

Кобозев не спешит давать мне новую тему. Сначала надо завершить все, что связано с диссертацией. Фотокопии чертежей. Статья по той же теме в научный журнал. Доклад, который нужно сделать на предстоящей конференции.

В начале апреля диссертация, уже в переплете, сда-на. Вскоре она уже у оппонентов. В ожидании их отзы-вов я почти что отдыхаю. Даже могу почитать книги, помузицировать с Шурой, поиграть в шахматы...

В конце мая отзывы от оппонентов получены. Защита назначена на конец июня.

Иллюстративные чертежи мне делаются. Остается одна неразрешенная проблема: в чем защищать... Ведь уже будет лето, и кашемировое платье не годится... Конечно, снова выручает мама, которой удается достать пестренький крепдешин.

Платье получилось прехорошенькое, но для защиты, как будто немного легкомысленно. Одну-ка я новую трикотажную тенниску кремовую, в рубчик, а платье на-дену на банкет, который мне устраивает моя лаборатория...

Настроение у меня приподнятое. Страх почему-то никакого нет. Тем более, что успешной защиты мне по-желал за три дня до нее мой муж! Мы виделись с ним снова в Таганке, в воскресенье, 20 июня, виделись после очень большого перерыва. (Со свиданиями стало туго!) От него я узнала удивительную вещь. На Марфинскую «шарашку» из далекой Инты прибыл Николай!

В день защиты, 23 июня, 35 градусов жары. 70 лет в Москве в этот день не было такой жары — так сказала радио. И тем не менее Николай Иванович Кобозев не отменил своего решения приехать на мою защиту. Это был первый ученый совет химического факультета, на котором после 13-летнего перерыва присутствовал профессор Кобозев. А потому моя защита превратилась в праздник для всей нашей лаборатории! Народу в большой химической аудитории много. Не так интересно по-слушать меня, как посмотреть на таинственного Кобо-зева!

Присутствовал Степухович, который из-за этого на 5 дней задержался в Москве. Были еще трое бывших ростовчан: с одним я была вместе в аспирантуре у про-фессора Трифонова, с другой вместе работала в Ростов-



ском университете, а с третьим мы начинали у Трифонова, а теперь вместе — у Кобозева. Эти четверо как бы связали мое настоящее с прошлым, что было особенно приятно. Были и Лида с Кириллом, и Вероника с Русланом.

Председатель совета — академик Баландин. В моих «вторичных ансамблях» он увидел переключку со своими «мультиплетами». Ему не могут не импонировать эти «вторичные ансамбли», тем более, что один из них содержит 6 атомов, что характерно для «мультиплетов»! Оба оппонента — доктора наук. Мне было сказано потом, что говорила я хорошо и на вопросы отвечала бойко.

Результаты тайного голосования: 20 — «за», 2 — «против». Меня, впрочем, утешили, что двумя черными шарами я обязана тому, что теория ансамблей Кобозева многими встречается в штыки. Эти шары не мне — ему!..

После того, как объявили результаты, меня задали цветами.

Для банкета снято помещение столовой. В нашем распоряжении два зала. В одном — откушивали и выпивали. В другом — танцевали. Рядом с самодельным глинтвейном, приготовленным моими сотрудниками, было и шампанское, которое принесли Лидочка и Кирилл.

На всю жизнь осталось у меня воспоминание об этом дне, который друзья и сотрудники сделали для меня настоящим большим праздником...

Мое кандидатство было дополнительно отмечено и на Стромынке. Шура приготовила хворост. Женя, археолог, испекла пирог.

Мой диссертационный стол перешел по наследству Шуре. Теперь пришел ее черед штурмовать диссертацию.

\* \* \*

После летнего отдыха я получила у Кобозева новую исследовательскую тему, трех студенток под свое начало и с удовольствием окунулась в работу.

В Ростове я много играла на своем «Беккере» и приняла решение возобновить музыкальные занятия при клубе МГУ у Ундины Михайловны Дубовой. (Ныне У. М. Дубова-Сергеева — заслуженный деятель искусств.)



*«Пятерка». Слева направо: А. Солженицын, К. Симонян, Н. Решетовская, Н. Виткевич, Л. Ежерец. Май 1941 г.*



*Н. Решетовская — студентка. 1937 г.*



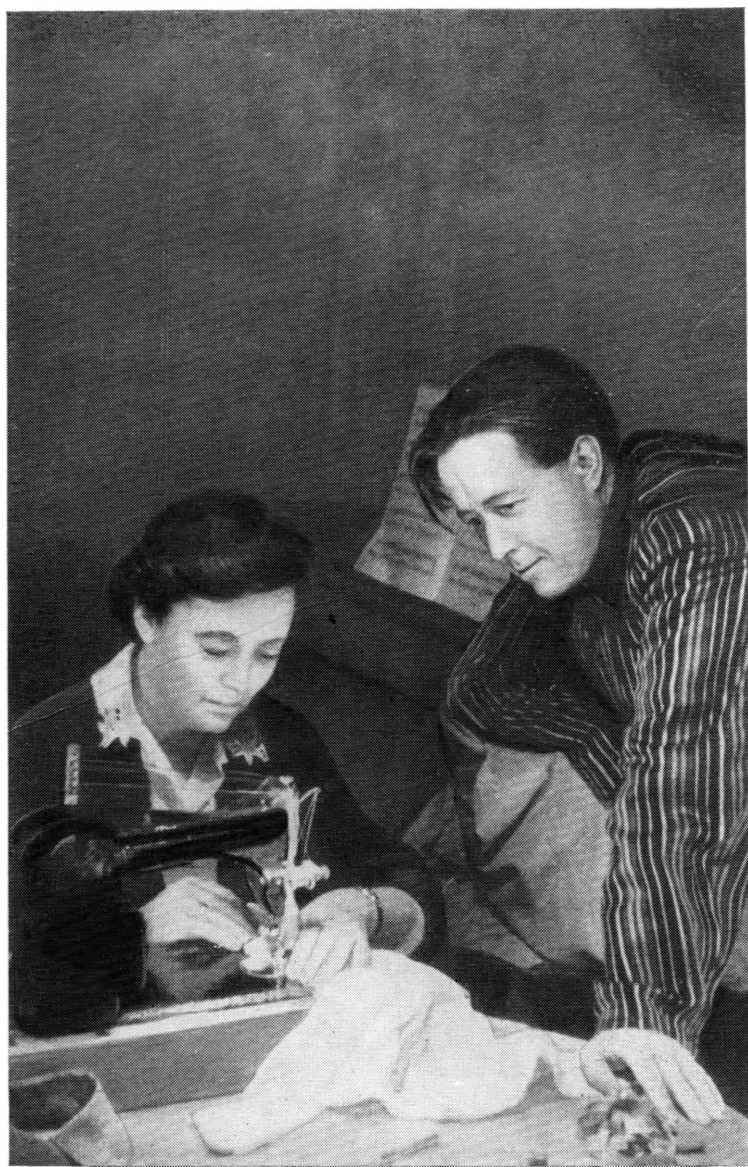
*Встреча Н. Виткевича (слева) и А. Солженицына. 1943 г.*



*Встреча супругов на фронте.*



*А. Солженицын и Н. Решетовская, Рязань 1958 г.*



*А. Солженицын и Н. Решетовская дома, в Рязани.*



*Возле дома на Касимовском переулке. Рязань. 1958 г.*





*Во время путешествия по Сибири, озеро Байкал. Лето 1962 г.  
А. Солженицын и Н. Решетовская в Солотче. 1963 г.*

Не связанная в лаборатории строгим расписанием, я довольно успешно совмещала химию с музыкой. Чтобы из лаборатории попасть в клуб, где я ежедневно упражнялась на рояле, нужно было только перебежать улицу Герцена.

Очень скоро я стала принимать участие в концертах художественной самодеятельности Московского университета.

Кроме самого университета, наша самодеятельность выступала перед самыми различными аудиториями и в самых различных местах: и в Доме ученых, и в Колонном зале Дома союзов, и в клубе Кремля, и в Театре Советской Армии.

Однажды пришлось играть в университетском клубе на собрании избирательного округа. Концерт был организован силами консерватории, театрального училища и самодеятельностью МГУ. Так, в один и тот же день и на одной и той же сцене и на том же рояле играли Шопена известный в те времена Яков Зак и просто Наталья Решетовская. Он — 2 вальса в первом отделении. Я — 2 этюда, во втором. Ундина Михайловна впервые расцеловала меня. Сидящая рядом с ней в зале консерваторская публика сказала ей, что я играю лучше их студентов.

Ундина Михайловна была ученицей Генриха Густавовича Нейгауза. Время от времени она показывала ему своих питомцев. Играла Нейгаузу и я, в его квартире, в комнате с двумя рядом стоявшими инструментами. Нейгауз что-то говорил о моей музыкальности, выразил удивление, что «химик» так играет и, помню, посоветовал мне в одном месте 12-го этюда Шопена вместо постепенного снижения звука — внезапный переход к тихому звучанию.

В Ростовском музыкальном училище обычно меня хвалили за технику. Теперь все подчеркивали мою музыкальность. Кирилл сказал об этом: «Наташка помучилась немного и стала хорошо играть!»

В тот год мы очень увлекались с Кириллом игрой в четыре руки. Играли главным образом Бетховена: его симфонии и увертюру «Эгмонт». Особенно любили мы с ним играть 2-ю часть 7-й симфонии.

Саня — в восторге, узнав о моем возвращении к музыке, которую всегда считал моим призванием. Он даже

увидел в этом «подлинный смысл» того, что я осталась в Москве, потому что только здесь, как ему кажется, я могу выйти на «большую музыкальную дорогу». «Стань за эти годы большой блестящей пианисткой!» — призывает он меня, явно не задумываясь о моих возможностях.

Все, казалось бы, так удачно складывалось... И вдруг — поголовное засекречивание всей лаборатории, независимо от того, над какими темами работает сотрудник: открытой или закрытой...

Профессор Кобозев лежит в Институте Склифосовского, с язвенным кровотечением. Его лечащий врач... Кирилл Семенович Симонян. Кира тотчас же устраивает мне свидание с Николаем Ивановичем.

Я советовалась не с одним Кобозевым. И с родственниками... И с очень близкими друзьями... И с адвокатом... Все решить должна я сама.

...Написать?.. Скрыть?.. Написать?.. Скрыть?..

По еще одному случайному стечению обстоятельств в те же дни заполнить специальную анкету предложили Евгении Ивановне Паниной. Думаем, говорим, думаем, говорим... Что же делать?.. В конце концов, мы с ней увидели только один выход: подать на развод. Тогда данные о муже можно будет дать в графе «бывший муж».

Несколько месяцев тянулась тягостная неизвестность. Утешение я находила в музыке. «Музыкой живу и дышу», — писала я маме.

На ближайшем же свидании — оно было 19 декабря в Таганке — я сказала Сане, что вынуждена с ним формально развестись, чтобы не потерять работы.

В поздравительном новогоднем письме Саня писал моей маме, что он очень рад тому, что я отказалась от своего упрямства и приняла, наконец, решение развестись с ним. «Это — правильно, трезво и нужно было сделать это еще три года назад», — заключил он.

Наступил Новый, 49-й год. Я встречала его у Лидочки. И вдруг за новогодним столом меня пронзила мысль: ведь сейчас все члены нашей когда-то «пятерки» здесь, в Москве. А Новый год встречаем порознь. И так будет еще и еще... Стало так горько, что не выдержала и расплакалась.

Но меня отрезвил Кирилл, который очень строго сказал мне:

— Ты решила нести свой крест — так неси его!

Прошло еще некоторое время, и к великой моей радости меня... засекретили.

Удача за удачей. На время студенческих каникул я еду с самодеятельностью МГУ в Ленинград, где я никогда еще не была.

Концерты, которые мы давали там каждый день, чередовались с посещением музеев.

Мы выступали на разных сценах, в том числе на сцене Ленинградского университета, Выборгского Дома культуры. Я пишу Сане письмо, сидя в артистической этого Дома культуры и видя множество своих отражений в зеркальных трельяжах. Мы имеем успех. Я тоже. Даже играла на бис.

Позже, отвечая на мое письмо «с ленинградскими видами и с фонтаном впечатлений от Ленинграда», Саня особенно рад, что у меня появилась «профессиональная привычка к выступлениям» и что я попала в Ленинград не просто, а «как победительница среди инструменталистов».

Муж настолько поверил в меня, как в пианистку, что выдвигает лозунг: «Поменьше химии и побольше музыки!» И строит совершенно фантастические планы, как бы мне, минуя консерваторию, стать исполнителем-профессионалом. Санина склонность к фантастическим умственным построениям без учета реальности придает всему этому комичные формы. Так, он задает мне вопрос, не могла ли бы я принять участие «в очередном конкурсе музыкантов-исполнителей». И следом за этим восклицает: «А как бы хотелось дожить до того времени, когда тебя станут передавать по радио!» Однако как раз это не так уже неосуществимо!

26 апреля, в канун нашей с Саней годовщины, я участвовала в концерте для делегатов X съезда профсоюзов, проходившем в Театре Советской Армии. Об этом концерте я написала Сане и ему почему-то пришла в голову мысль, что нас могут транслировать по радио. О том, что концерт действительно передавали по радио, я узнала уже после того, как сыграла 12-й этюд Шопена. Оказалось, что меня слышали очень многие друзья, знакомые, родственники. Но самое главное — муж! «Я почему-то так и думал, что будет Шопен, а не Рахманинов,— писал мне в тот же самый вечер Саня.— Слушал —

и сердце билось. Как хотелось взглянуть на тебя в этот момент!» Но хоть и не удалось взглянуть, а на душе у него такое чувство, «как будто повидались перед самым праздником».

И нужно же было, чтоб так совпало!..

27 апреля было для нас с Саней любимым днем в году. Если в этот день мы не могли получить свидания, то я старалась все равно приехать к нему, хотя бы передать передачку, сделать какой-нибудь подарок.

А накануне 27 апреля 49-го года я сыграла своему мужу Шопена.

Участие в этом концерте привело к моему примирению с дядюшкой, с которым я поссорилась за 3 года до того из-за своего мужа. Тогда я дала дяде Воле прочесть заявление Сани с просьбой о смягчении наказания.

Я ждала от него советов, помощи. Вместо того Валентин Константинович стал кричать на Саню, называть его мальчишкой, возмущаться тем, как он посмел... и пр. и пр.

И вот теперь его жена оказалась в жюри во время генеральной репетиции концерта. Она разыскала меня после моего выступления.

В один из майских дней я пришла к Туркиным. Меня ждал накрытый стол, на котором чего только не было... И свежезажаренная курица, и ветчина, и раки, сыр, халва и даже пиво. Ведь профессор Туркин был еще и большим гурманом и даже превосходным кулинаром!

После нашей длительной ссоры дядюшка проникся ко мне особой нежностью. Это подкреплялось еще и тем, что все они слушали меня по радио. Дяде Воле моя игра понравилась, и он сказал мне, что «они мной гордятся». Даже звал летом к ним в Тарусу. Одним словом, мир был полностью восстановлен!

Мой «концертный сезон» увенчался тем, что на университетском смотре я получила I премию и была награждена путевкой в Дом отдыха МГУ — «Красновидово».

Во время этого моего последнего выступления на сцене МГУ в зале находилась... Антонина Васильевна, мать Николая Виткевича. Она приехала в Москву, чтобы увидеться с сыном. Право, можно подумать, что я это придумываю, но нам с ней, действительно, было назна-

чено свидание с нашими «сэрами» на один и тот же день — 29 мая.

На свидание мы с Антониной Васильевной приехали вместе, обе — с цветами.

Это свидание проходило в Лефортовской тюрьме. Идя по узкому коридору и глядя в распахнутые двери с правой стороны, я прежде Сани увидела Николая, стоящего во весь рост у стола. Он стоял за светом. И это был всего лишь миг. Все же я успела разглядеть, что он стал носить усы. Николай тоже успел увидеть меня и узнать.

Свидание наше с Саней было в тот раз каким-то очень светлым. Последним перед ним было декабрьское, на котором я сказала о разводе. Только в письме, написанном в день нашего майского свидания, муж сознался мне, что в декабре вернулся на «шарашку» «в мрачной безнадежности». Зато на этот раз он приехал в «Марфино» веселый, с ландышами в руках и «удивительно облегченный».

Весь следующий день понедельника, 30 мая, я была полна сложными чувствами. Проводила опыты в лаборатории, думала о своем... Очень обрадовалась, когда мне позвонил один ученик Ундины Михайловны и сказал, что у него оказался лишний билет на концерт Рихтера. Оставалось уже мало времени. Я быстренько свернула свои опыты и побежала в консерваторию.

На следующий день заместителем Кобозева по хозяйственной части мне было поставлено на вид, что я, уходя накануне, не закрыла форточку.

Весьма возможно... Но ведь я уходила далеко не последняя. В кабинете Кобозева оставались люди... Моя комната — проходная, и тот, кто уходил последним, должен был закрыть форточку... К тому же на окне решетка!..

Мне было отвечено, что вечером лабораторию посетили представители спецчасти, которые отнеслись к этому весьма серьезно...

Тотчас же пошла я к начальнику спецчасти. Да, у него есть соответствующий рапорт. Я объяснила ему всю ситуацию. Он выслушал меня молча. Посчитав, что убедила его, я совершенно успокоилась.

Кроме обычных дел, я усиленно готовилась в те дни к философскому докладу на предстоящей теоретической факультетской конференции.

И вдруг 6 июня, совершенно потрясенная, не веря своим глазам, я читала приказ о своем увольнении из университета «за халатное отношение к работе, выразившееся в том, что, уходя из лаборатории, оставила открытым окно (?) и дверь (???)».

Юрист МГУ, сначала отнесшийся ко мне с недоверием, потом, когда я передала ему расположение комнат и объяснила, что не могла же я запереть лабораторию снаружи вместе с находившимися в ней сотрудниками, заключил, что я имею полное право опротестовать этот приказ и потребовать своего восстановления.

В страшной растерянности поехала я к своему профессору, который находился тогда в подмосковном санатории «Узкое».

Николаю Ивановичу ничего не известно о моей беде. И вот он, всегдашний мой доброжелатель, считавший меня в составе своей научной школы, на сей раз советует мне уйти из университета. Мне все равно уже не дадут здесь спокойно работать! А он, редко из-за болезни бывая в лаборатории, не сможет меня защитить... Разумеется, я не должна уйти с порочащей меня формулировкой. Об этом он позаботится...

Приказ был изменен. Я была отчислена «согласно личному заявлению»...

...Как быть?.. Из всякого плохого, что на тебя обрушивается, надо стараться извлечь по возможности больше если не хорошего, то хотя бы полезного!.. К тому времени я очень соскучилась по преподавательской работе, которой так увлеклась во время войны... Быть может, удастся пройти по конкурсу в какой-нибудь из подмосковных институтов? или даже... в самой Москве?.. До начала учебного года остается три месяца. На конкурс подать можно еще успеть. Но как летом жить без зарплаты? Значит, снова обращаться к маме?.. Но нельзя писать всего, как оно есть! Нельзя волновать понапрасну!..

И я написала, что решила с осени перейти на преподавательскую работу. Но для этого нужно уходить из университета сейчас: я как раз заканчиваю тему, если возьму другую — осенью не отпустят... Смущают только материальные соображения...

Мама, даже не дождавись моего следующего письма с просьбой о займе, выслала мне деньги.

А тут неожиданно подвернулся урок по музыке. Будет хоть маленький заработок!

Не теряя времени, я стала ездить по подмосковным институтам (или нет вакансий или опоздала), а также отправилась в Министерство высшего образования разведать, в каких институтах объявлены конкурсы на подходящую для меня должность.

Самым реальным и соблазнительным показался мне вновь открывавшийся в Рязани сельскохозяйственный институт. Совсем близко к Москве! (А значит, и к Сани! и к Ундине!) Должность доцента. К тому же я по талды-курганскому опыту знала, как интересно работать в молодом учебном заведении, где коллектив еще только формируется и на первых порах всегда дружный, где работа требует много инициативы, энергии, полной отдачи сил...

Документы поданы. Среди них — вполне хорошая характеристика от университета и блестящий отзыв профессора Кобозева.

Я почти уверена, что пройду по конкурсу.

Вынужденная поневоле «отдыхать», я с еще большим рвением занялась музыкой. Даже выступила в июне по телевидению.

...А что, если переключиться на музыку?.. Но... как?.. Ундина Михайловна считает, что я вполне могу попытаться поступить в консерваторию. Но... опять студенчество? Опять на маминой шее?..

Саня отнесся к тому, чтобы я променяла химию на музыку, с энтузиазмом. Он считает, что уж если оставаться в Москве из-за музыки, то нужно найти «совершенно исключительный, но быстрый и уверенный способ стать профессионалом», помимо консерватории. «Ты скажешь, что такого пути нет,— пишет он,— а его надо найти». Снова — фантастические построения! А жизнь есть жизнь! Надо работать! Надо зарабатывать!

Две недели июля провела я в подмосковном доме отдыха по путевке, которой меня премировал тот же университет, что и уволил...

Не одна я получила путевку за успехи в самостоятельности. А потому и здесь много музыки, пения, художественный свист... Интересное знакомство с только что окончившим Московскую консерваторию пианистом. Его



советы мне — поступать обязательно... Теперь у этого пианиста много почитателей. Это — Олег Бошнякович.

Образовалась приятная компания. Музыка... Прогулки к Москве-реке... Задушевные беседы... Даже дурачества... И... беспокойство о своей судьбе на время отступило...

Из дома отдыха я писала Сане, что скорей всего буду работать в Рязани. Пообдумав, он этому обрадовался. По приезде в Москву я получила от него письмо, где он писал, что мне, некоренной москвичке, «много лет еще пришлось бы ютиться по углам и жить полубездомной жизнью». Ему кажется, что в тихом городе я устроюсь спокойнее и лучше. Ко мне переедет мама «с тетями и со всем домом, в том числе и с роялем».

Но результатов конкурса пока еще нет.

Берусь за платный перевод английской статьи. Готовлю в институт по химии дочь обеспеченных родителей. Все это интересно и неплохо оплачивается.

А из Рязани пришел большой пакет. Что это?.. Увы, мои документы! По конкурсу я не прошла...

Снова Министерство высшего образования. Снова хождение по различным отделам. По моей специальности требуются ассистенты в Горьковский университет. Здесь сейчас и сам заведующий кафедрой профессор Н. Он готов взять меня, несмотря на признание, что я «развожусь с мужем, находящимся в заключении».

19 августа я приехала в Горький и в тот же день была зачислена ассистентом кафедры физической химии... Но с 1 сентября.

...Зачислил бы меня ректор со дня моего приезда — и работать бы мне в Горьком! Такой, казалось бы, пустяк определил мою дальнейшую судьбу...

Мне обеспечен значительный оклад, подъемные, обещана через некоторое время комната. А пока — у меня отдельный номер с широким окном, открывающим вид на Волгу в центральной гостинице, что на набережной. После общежития на Стромынке все кажется сказочным. Даже одиночество не тяготит, а позволяет лишь полнее переживать привлекающее новизной настоящее и что-то обещающее будущее...

Распахиваю окно. Волга затягивается легкой предвечерней дымкой. Кое-где на противоположном берегу загораются одинокие огни. От реки веет свежей прохлады.

дой. Огней становится все больше, а по самой реке — движущиеся огоньки медленно проплывающих судов... И меня все больше охватывает давно не испытываемое чувство внутреннего покоя...

Бываю на кафедре. Готовлюсь к проведению лабораторного практикума, перечитываю двухтомную «Физическую химию» Бродского, по которой самообразовывался Саня в лагере на Большой Калужской. Гуляю по городу, обедаю непременно пельменями, бываю в кино. И... не тороплюсь зайти на почтамт спросить корреспонденцию до востребования: ответов-то ждать еще рано... А там уже несколько дней, как лежит телеграмма от друзей из Москвы:

«Рязань предоставляет место доцента».

Я — снова в смятении. Не только доцентство. Хотя читать лекции — куда привлекательней, чем вести практикум. Рязань ближе к Москве. И главное — вот уж там мне развод совсем не понадобится!..

Шлю телеграмму в Рязань. Но ждать ответа слишком мучительно. Делюсь своей новостью с заведующим кафедрой. Меня привлекают лекции? Он даст мне прочесть спецкурс!

Я прошу разрешить мне все же съездить в Рязань.

— Но надо готовить практикум! Через несколько дней занятия...

— Но я-то зачислена на работу с 1 сентября...

Профессору нечего возразить. Я могу ехать.

В министерстве ничего не известно об изменениях в конкурсных делах Рязанского сельхозинститута. Заказываю разговор с Рязанью. Место свободно, меня ждут. Я все же хочу увидеть все своими глазами... Пожалуйста...

27 августа я в Рязани. Город нравится. Тогда он был тихим. Сохранилась старина. Даже здание института, бывшая мужская гимназия,— строгой классической архитектуры.

Директор ведет меня на квартиру к заведующему кафедрой химии. Мы застаем его за подготовкой лекции по... физической химии. Он очень рад освободиться от ведения не своего предмета.

(Кстати, место доцента-химика оказалось снова вакантным, потому что тот, кто прошел по конкурсу, не

согласился на должность доцента, он претендовал на заведование...)

Мне выделяется веселенькая белая с голубым комната в здании института.

1 сентября я — в Рязани. Возчик погружает мои вещи на тачку, и мы с ним тихим ходом шествуем через весь город к моему институту. В Рязани в ту пору было только два стареньких автобуса, жители предпочитали ходить пешком, чем их дожидаться.

Дала знать заместителю директора, что приехала. Вскоре мне принесли от него записку. «Завтра в 10 часов утра ваша лекция». Подпись была та же, что и на телеграмме, в которой «Рязань предоставляла место доцента», — Наумов.

Устала. Хочется спать. Но нельзя. К утру лекция должна быть готова. Хорошо, что всю дорогу к ней готовилась. Ведь это — вводная лекция. Так о многом надо сказать! Дописываю лекцию, уже лежа в постели, сонными каракулями...

Хотя Наумов и приготовил на всякий случай мне замену — доцента по анатомии, но это не пригодилось. На моей лекции, кроме 150 студентов, — заведующий кафедрой, декан, ассистенты.

Первое крещение я получила в актовом зале института — бывшем зале суда. Наша кафедра примыкала к сцене. В этом помещении присяжные заседатели раньше выносили приговор: виновен — не виновен, казнить ли — миловать ли...

— У вас дело пойдет. Первый блин не вышел комом! — услышала я от декана Болховитинова после лекции.

Так в мою жизнь прочно и надолго вошла Рязань.

Саня написал мне: «...впервые за все эти годы у меня появилось чудесное сознание, что у меня где-то появился родной дом... для меня нет дома без тебя, дом только там может быть, где хозяйкой — ты, где ты живешь».

\* \* \*

Таким образом, в жизни все случилось не так, как в романе «В круге первом». Первой из Москвы уехала я, а не мой муж, который оказался «прописанным» в Москве дольше почти на целый год.

Время действия «Круга» — примерно посредине между датами моего отъезда из Москвы и Саниного — из «Марфино». При весьма большом охвате людей и событий оно ограничено всего тремя сутками — с пяти минут пятого дня 24 декабря до конца обеденного перерыва «марфинских» эзков 27 декабря 49-го года. Таким образом, стремление Александра Исаевича к уплотнению времени в жизни перенеслось и в творчество. Никаких временных пустот! Сначала читатель не спит вместе со Сталиным, потом — с Яконовым, которого возле церкви Иоанна Предтечи застает рассвет. Но этот же рассвет наблюдает уже поднявшийся Сологдин, стоя возле козел для пилки дров. Следующую ночь мучится бессонницей Рубин. В половине четвертого утра читатель расстается с ним, но тут же попадает в спальню Ройтмана, который не спит, мучась угрызениями совести, и как раз слышит «полновесный» удар стенных часов — те же половина четвертого утра.

Кстати сказать, это место «Круга» характерно для особенности метода Солженицына. Годами живут в его мозгу «ценные идеи», для которых он ищет место в своих произведениях. Это могут быть и отдельные мысли, и концепции, и какие-то автобиографические эпизоды.

Так и здесь. Когда-то маленький Саня Солженицын грубой антисемитской выходкой оскорбил соученика — еврея. Состоялось бурное обсуждение этого события на уровне классного собрания. Несколько мальчишек выступили и ругали Саню...

Тридцать лет спустя Солженицын вставляет эту сценку в роман. Разумеется, Олег Рождественский (так благочестиво назван маленький герой) нарисован самыми благородными и трогательными красками, а его гонители — исчадия ада. Любопытно, что эти мальчишки названы тридцать лет спустя своими собственными именами. Хоть с запозданием, но отомстил!

Ройтмана среди них не было. Это уже литературный герой. И если «потерпевший» Солженицын мог помнить тридцать лет об этом эпизоде, вряд ли Ройтман блеснул бы такой исключительной памятью и стал бы не спать от угрызений совести, тем более, что правота юного антисемита более чем сомнительна. Но Солженицыну показалось, что это подходящее место для своего рода вставной новеллы!

Мало того, — видимо, без дополнительных раздумий — он повторяет тридцать лет спустя свою детскую аргументацию. Как так, почему же я не могу назвать человека «жидом», если у нас свобода слова?! Мысль о том, что у его оппонентов тоже есть свобода высказать свое к этому отношение, не приходит в голову ни мальчику, ни писателю. Затронули его — значит, это уже не свобода, а «травля»!

\* \* \*

В первом же письме, написанном после разлуки с «шарашкой», с Куйбышевской пересылки, Саня писал мне, что 19 мая «совершенно для себя неожиданно» он уехал из Марфино. Писал, что не думал, что это произойдет так скоро, что ему очень хотелось «прожить там до будущего лета». (Обычно, за некоторое время до конца срока заключенных отключали от секретной научной работы.) «Обстоятельства шаг за шагом ускоряли отъезд и сделали его неизбежным», — писал он мне и тут же заверял, что уехал «вполне по-хорошему».

В другом письме, написанном уже не мне, он объяснял свой отъезд с «шарашки» тем, что просто перестал работать. То есть, «тянул резину».., хотя и подозревал, что это кончится «переездом в иные места». Ясно, что он больше занимался с некоторых пор своим любимым трудом, чем основной работой.

Да и в разговорах со мной Саня никогда не изображал свой отъезд как следствие какого-то героического поступка, гордого отказа от предлагаемого ему задания.

Более того, мне известна еще одна версия Солженицына по поводу того же, сообщенная им Леониду Власову. Он оказался жертвой спора двух начальников, которые «не поделили его между собой», и старший, наделенный властью, послал его «на такую муку»...

В этих поисках лучшего варианта своего отъезда с «шарашки» слились два стремления Солженицына, которые тогда были только в зачаточном состоянии, а постепенно заняли в его жизни большое место — прослыть одновременно и героем и мучеником...

Конечно, тюрьма, какой бы она ни была легкой, остается тюрьмой. И даже нетяжелая и интересная жизнь в «марфинской шарашке» с работой по специальности,

с книгами, музыкой, веселыми выдумками Рубина, спорами, интеллектуальными разговорами, сливочным маслом на завтрак и мясом на обед все же была тюремной и особенно давила ее равномерность, монотонность, предопределенность... Работа, которую обязан выполнять, постепенно забрасывается... Все больше внимания и времени отдается «своим делам» и создается впечатление о лени и нерадивости Солженицына, что, в конце концов, и приведет к тому, что Марфино сменится на Экибастуз...

\* \* \*

В Рязани у меня началась кипучая, деятельная жизнь, но совсем не похожая на московскую. Я читала два разных лекционных курса, вела лабораторный практикум, имела очень много учебных часов.

Нужно было много готовиться. Как-то в октябре я писала Сане: «Сегодня воскресенье, сижу вся обложенная физхимией — готовлю лекцию по термодинамике, которую я должна целиком уложить в 2 часа — от этого не легче, а, наоборот, тяжелее».

И, тем не менее, пришлось еще заняться художественной самодеятельностью. Аккомпанировала студенческому хору, которым дирижировал тоже доцент, только анатом. У анатома был хороший тенор, мы готовили с ним арии из опер и выступали на праздничных вечерах. Сольные номера считала «несолидными» для своего положения.

Бывало, приходилось готовить лекции по ночам. Особенно, когда они шли ото дня ко дню, а вечером еще репетиции. Я не помню случая, чтобы в студенческие годы занималась ночами перед экзаменами, а тут я все жалею маме, что сплю по 4—5 часов в сутки, что как-то готовила лекцию с 11 вечера до 4 утра...

Полгода спустя я была утверждена заведующей кафедрой химии.

Сначала жила одна, потом ко мне в свой отпуск приехала мама, а зиму и весну прожила со мной тетя Нина.

Понемногу из Ростова переселяются мои любимые вещицы, все больше старинные: рог для полотенца, белая перекидная чернильница, чугунная пепельница, хоро-

шенькие рамки для фотографий, старинный письменный столик.

Хоть Москва рядом, бываю в ней не часто — нет свободного времени. Разве что на праздники. Превратившись теперь из «бедной родственницы» в «богатую», езжу к Туркиным с гостинцами. Везу из Рязани яблоки, свежую баранину. Навестила и своих стромынкинских девушек, которые еще не простились с университетом...

Саня как-то написал мне очень расстроившее меня письмо. В нем он советовал мне довести до конца начатый год назад развод и отказаться от переписки — «этой иллюзии давно не существующих семейных отношений». Писал, что мое благополучие дороже их, что он не хочет бросать на меня ни малейшей тени. Однако радостно вздохнул, когда я в ответном письме отвергла все эти его советы, подсказанные рассудком, в то время, как сердце у него «в страхе сжималось — неужели так и будет?».

А я как раз рада была, что, сменив Москву на Рязань, могла оставить свое дело о разводе, быть не только в сердце своей женой своего мужа, но и остаться ею юридически.

Увиделись мы с Саней в тот год только один раз — в марте. Свидание было в Бутырках, куда его специально привезли. Оно было радостным для обоих. Но под конец неожиданно омрачилось. Саня сказал, что жалеет, что у нас с ним нет детей. Я погрустнела и сказала, что, вероятно, поздно об этом думать...

## Рядом с Иваном Денисовичем

Поезда на восток шли с обычной скоростью. Но у обитателей зарешеченных вагонов были свои, только им положенные остановки: пересыльные тюрьмы Куйбышева, Челябинска, Новосибирска.

Заключенных перевозили без спешки. А им самим и вовсе некуда и незачем было торопиться. У Сани было время поинтересоваться историями тех, с кем сводила его на пересылках судьба.

Настроение Сани никак нельзя было сравнить с тем, что испытывал он летом 1945 года, когда был еще «молодым» заключенным. Теперь не было впереди такого пугающе огромного груза лагерных лет. В арестантских вагонах, вообще во всей этой обстановке, он чувствует себя легко и привычно, выглядит хорошо, полон сил и очень доволен последними тремя годами своей жизни.

Конечно, конец срока может оказаться очень тяжелым — «куда попадешь и как устроишься», но, как говорит пословица: «все что делает бог — все к лучшему».

Кормят их в дороге и на пересылках довольно прилично. Разумеется, не так, как в «шарашке», и Солженицын, чтобы компенсировать это ухудшение, пробует бросить курить.

Первое знакомство с Азией. Впервые любитесь он



«благородно-красивым Уралом». Впервые проезжает мимо обелиска «Европа — Азия».

Но вот и конечный пункт их назначения. Экибастузский лагерь. Внутри треугольника: Караганда — Павлодар — Семипалатинск. Голое, пустынное место с редкими строениями.

И началась у Сани с середины августа 50-го года жизнь, очень сходная с той, что была у него пять лет назад, когда он находился в лагере при кирпичном заводе в Новом Иерусалиме.

Но если тогда он «судорожно, торопливо и с кучей ошибок пытался устроиться поинтеллигентней, получше», то теперь он уже ко всему внутренне подготовлен, к жизни значительно менее требователен. «Оленьи рога» уже обломаны, а «оленьи ноги» успели сослужить ему достаточную службу. И как он будет устроен здесь, Сане кажется не столь уж важным. «Пусть идет все, как оно идет», — напишет он мне уже из лагеря. И поделится со мной, что стал верить в судьбу, в закономерное чередование везений и невезений, что «если во дни юности дерзко пытался подействовать на ход своей жизни, изменить его», то сейчас ему это «часто кажется святотатством».

На фронте капитан Солженицын, хотя и хотел узнать народ, не был на это способен. Вверенный ему «народ», его бойцы, кроме своих непосредственных служебных обязанностей, обслуживали своего командира батареи. Один переписывал ему его литературные опусы, другой варил суп и мыл котелок, третий вносил нотки интеллектуальности в грубый фронтовой быт. Эти люди не жили для него своей самостоятельной, собственной внутренней жизнью.

А тут вдруг он понял, что в данных обстоятельствах он человек, как тысячи других, со своими маленькими, почти ничтожными возможностями. Отсюда — и будь что будет!..

Снова Саня, как когда-то в Новом Иерусалиме, — простой рабочий. «От резкого изменения образа жизни сильно устаю», — пишет он, но надеется, что постепенно привыкнет, втянется... За один только «хвостик августа» он успел стать таким смуглым, каким никогда не был. Поселили Саню в 9-м бараке, где и Иван Денисович будет жить. Вагонки с нарами в два этажа.

Мое состояние всегда во многом определялось тем, что мне напишет Саня, что скажет на свидании, что я прочту в его глазах... Но пришло первое письмо из далекого Экибастуза, и я узнала: видеться нам теперь вовсе не придется. А ведь за последние годы установился определенный ритм жизни, предусматривающий встречи, хотя бы и в несколько месяцев раз... А в промежутке — воспоминание о прошлой встрече и ожидание будущей.

До сих пор Саню от меня отделяло только время и ничто больше. Время от встречи до встречи, от письма до письма... А где-то вдали виделось письмо «с конечной станции» и встреча, которая не оборвется словами надзирателя «свидание окончено». Теперь свиданий нет и письма будут приходить только дважды в год... Нас разделило не только время, но и пространство!

Постепенно к ощущению этой географической отдаленности присоединилось еще и чувство другой отдаленности, которая объяснялась не только тем, что письма Санины были редки, но и тем, что писал их человек каких-то совсем других настроений, совсем новый для меня Саня.

Я знала своего мужа как человека, активно вмешивающегося в свою жизнь. А тут он сообщает, что мог бы написать на старое место работы, где когда-то обнаружил, насколько крепки его математические «коленья ноги», и его, вероятно, взяли бы... Но... стоит ли?

Как это было несвойственно ему раньше! Вместо буйной воли — пассивное ожидание: будь что будет... Смирение... Покорность судьбе... Фатализм... «Может быть, такая вера в судьбу — начало религиозности?» — задает он вопрос и тут же отвечает: «Не знаю. До того чтобы поверить в бога, я, кажется, еще далек».

Слово «бог», хоть пока еще с маленькой буквы, все чаще им упоминается. В декабрьском письме 50-го года: «Не болел еще здесь, слава богу, ничем, дал бы бог, и дальше не болеть».

У Солженицына есть так называемые любимые мысли, вынашиваемые им годами. Они повторяются и в его письмах, и в его произведениях. Одна из них родилась

у него еще на фронте, была пронесена через лагерные годы и нашла свое завершенное выражение в романе «В круге первом» в главе «Немой набат».

«Надя пишет в письме: „Когда ты вернешься...“ В этом и ужас, что *возврата* не будет. *Вернуться* нельзя... Можно только прийти *заново*. Придет новый незнакомый человек, носящий фамилию прежнего мужа, и она увидит, что того, ее первого и единственного, которого она четырнадцать лет ожидала, замкнувшись, того человека уже нет, он испарился по молекулам.

Хорошо, если в той, второй, жизни они еще раз полюбят друг друга.

А если нет?..»

Когда я впервые прочитала в одном из фронтовых писем мужа выдержки из его маленького рассказа «Фруктовый сад», написанном в виде письма мужа жене, что «возврата» не будет, а будет «приход», что и ко мне придет другой человек, я в это не поверила.

Чувство нашей большой внутренней слитности поддерживалось во мне с 45-го до 50-го года, даже как будто нарастая... Оно поддерживалось письмами, редкими встречами на свиданиях, неугасающей любовью нашей, о которой мы не уставали писать друг другу.

Как бы ни были редки в последнее время наши свидания, ни на одном из них я не встретила с человеком, который хоть в чем-то показался бы мне чужим...

А вот в редких письмах из Экибастуза стал проступать уже какой-то совсем другой человек. Этот человек мог вызвать еще больше сочувствия, но не мог уже в той степени, как раньше, поддерживать во мне то внутреннее горение, без которого жизнь теряла краски.

Саня становился для меня все более ирреальной фигурой, становился далеким любимым образом. Образом-воспоминанием, образом-надеждой. Но... образом.

Я продолжаю писать ему примерно в месяц раз. Пишу о работе, о занятиях в самодеятельности, о докладах то на философском семинаре, то на организовавшемся у нас отделении Менделеевского общества по теме своей диссертации. Пишу, что в начале 51-го года должна получить комнату или две в новом доме, который наш институт строит для своих преподавателей, и тогда смогу перевезти в Рязань свой рояль.

После жаркого экибастузского лета пришла осень: сухая, теплая. А потом вдруг ударил мороз и в один день стала зима. Да какая!.. Никогда раньше не знал Саня, что такое морозы больше чем 40°.

И осень, и зиму работал Саня каменщиком. «Физический образ жизни всегда шел мне на пользу», — пишет он мне. Вот он и не болеет, и выглядит ничего. Беда только, что рукавицы на работе «буквально горят», не успевают их латать, хотя у него их и две пары: свои и казенные.

На строительстве ТЭЦ работалось споро. У Сани не так, правда, ловко шла работа, как у Ивана Денисовича, но, бывало и он увлекался ею так, что и не замечал, как уж время было кончать...

Муж заверяет, что он отнюдь не находится в состоянии уныния. Дух его бодр. Он ждет «много хорошего в будущем» и это облегчает ему «жизнь сегодня».

Умиротворенному, спокойному, несколько фаталистическому настроению соответствует просьба прислать ему стихи и драматическую трилогию А. К. Толстого, драмы Островского, Кольцова и лирику Блока. А пока он по страничке в день читает из словаря Даля.

Многим сокамерникам своим Солженицын так и запомнился — «человеком с томом Даля под мышкой, в обществе Панина и Карбе».

В письмах Сани того времени появляется то, чего в предыдущих письмах совсем не было. Экибастузский лагерь — не чета «шарашке»! А потому приходится заботиться не только о духовной пище! И наряду с Толстым и Блоком в письмах упоминаются сахар, сало, сухари.

Я не могу от себя посылать посылки. Рязань — не Москва. Об этом станет известно и в моем институте. А ведь я только-только стала опорой семьи, смогла освободить маму от помощи нам и от работы вообще, смогла материально помогать тетям, а вот теперь надо будет помогать еще и мужу... И все заботы и хлопоты самоотверженно принимает на себя моя тетя Нина, живущая в Ростове. Ей к тому времени перевалило уже за 70 лет. Относить посылки на почту ей помогает муж моей старшей двоюродной сестры.

Ежемесячно шлются Сане сахар, сало, сухари, табак, а то и сливочное масло, и колбаса, лук, чеснок. И не только продукты. Валенки, вещмешок, шерстяные носки, рукавицы и многие разные мелочи: то деревянная ложка, то паста зубная, то нитки с иголками, то мочалка, то пластмассовая посудинка, то чернильница-непроливайка...

Получение посылок Саня каждый раз воспринимает как праздник.

Писем больше двух раз в год писать нельзя, но разрешены открытки с подтверждением, что посылка получена. Вот одна из них:

«Вашу посылку от 13.6. получил. Большое спасибо. Все прекрасно. Пришлите карандашиков. Целую всех. Саня».

Для нас эти открытки — еще и весточки в промежутках между редкими письмами.

«Посылки ваши для меня — источник жизни», — писал мне Саня в декабре 50-го года. Он был очень благодарен тете Нине и считал себя «в неоплатном долгу» перед ней. И в то же время он верит и чувствует, что тетя Нина все для него делает с искренней заботой и любовью. А потому он без стеснения пишет ей, что ему «особенно хочется мучного и сладкого», что «сухофруктов больше не надо», а махорку лучше бы присылать не № 3, а № 2 или № 1 — № 3 уж очень легок».

В дальнейшем тетя Нина так изучит Санин вкус, что будет угождать ему даже куревом. «Куреву Вы прислали чудесное, как будто сами курите». «...особенно хороша Саратовская махорка».

Саня не скрывает своей радости, когда получает что-нибудь домашнее сладенькое. «Всякие сладкие изделия, которые Вы мне присылаете, — объедение», — пишет он тете Нине.

Потом понадобятся Сане еще и защитные очки от пыли, и коробочки деревянные или пластмассовые (железной и стеклянной посуды держать нельзя), и бумага, тетради, блокнот и мешок, и овсяные хлопья (чтоб варить скорей) вместо крупы, и тапочки... И все это, как в сказке, к нему является. «Вы заботитесь обо мне как родная мать», — пишет Саня тете Нине.

В лагерном клубе есть библиотека. Саня читает центральные газеты, только с большим опозданием: «им сюда

много суток пути от Москвы». Радио — совсем не слышит. А значит, и музыки лишен. Скучает по ней. «Прочтешь программу радиовещания в газете и только сердце заночует», — пишет он мне. Здесь, в библиотеке, знакомится Саня с теми, кто часто посещает читальный зал. Некоторые становятся его друзьями.

Вот зима (первая «экибастузская»!) кончается... Уже бывают хорошие весенние дни, перемежающиеся, правда, с морозами.

Лицо у Сани худое, но свежее и с румянцем — «такое благотворительное влияние тех степных морозных ветров»...

\* \* \*

Инициатором открытия Рязанского отделения Менделеевского общества был заведующий кафедрой общей химии вновь открывшегося в том году в Рязани медицинского института имени академика Павлова — профессор Виленский, который хорошо знает моего Николая Ивановича Кобозева. Доцент кафедры физической химии В. С. С-в охотно берется ему помочь.

Рязанский медицинский институт был создан на базе 3-го Московского мединститута. Поэтому научные кадры в нем были очень сильные.

Теперь в Рязани уже три вуза и четыре кафедры химии. Химиков вполне достаточно, чтобы организовать Менделеевское общество!

Через некоторое время Рязанское отделение Менделеевского общества было открыто. Председателем избирается профессор Виленский, ответственным секретарем — доцент С-в. Заседания проводятся в помещении медицинского института. Химики города все больше знакомятся между собой. Постепенно и больше узнают друг о друге. У доцента С-ва недавно умерла жена. Поэтому он и переменял место жительства. Его ближайшие сотрудники очень озабочены его судьбой...

В феврале 51-го года мы с мамой переехали в дом на Касимовском переулке (здесь-то и будет написан в свое время «Один день Ивана Денисовича!»), получив две смежные комнаты в трехкомнатной квартире.

Не за горами день рождения. Решено, что в этот самый день мы отпразднуем и наше новоселье. К нам при-

шли декан с женой, моя ассистентка с мужем, одна женщина-врач тоже с мужем, да Ольга Николаевна Улащик, преподавательница английского языка, с которой мы рядом жили в здании института, а теперь обе переехали в дом на Касимовском.

Самой жизнерадостной из всех присутствующих была женщина-врач. Вовсю старалась всех веселить. Но нельзя было не заметить, что меня ничто не веселило, что в тот вечер я была очень грустна. На работе никто не привык меня такой видеть и потому это особенно бросилось всем в глаза. А я ничего не могла с собою поделать...

Даже письма от Сани не получила я к этому дню. Он поздравил меня с днем рождения еще в декабрьском письме, когда поздравлял с Новым годом и с новым полу столетием. Еще в первом письме из Экибастуза Саяя советовал мне, когда станет особенно тоскливо без его писем, перечитывать его старые, а больше всего то, которое он прислал мне в день моего тридцатилетия и где писал, что и в 60 лет будет любить меня «так же, как полюбил в восемнадцать». И чтобы утром 26-го февраля мне показалось, что он «только-только произнес их, склоняясь над моей подушкой». Конечно, счастье — это сознавать. Но...

Невольно вспоминались мне мои дни рождения в Москве, что отменялись в общежитии на Стромынке. Почему же тогда не было этой бесконечной грусти?.. Почему тогда не чувствовала я себя такой несчастной?.. Неизменно оживлялась?.. Радовалась всем знакам внимания, которые мне оказывали мои подруги по общежитию?.. С нетерпением ждала прихода Лидочки с Кириллом?.. И искренне смеялась его остротам?..

Может быть, оттого и так грустно, что нет со мной моих стромынкинских девушек с их тоже неустроенной судьбой?.. Мы успели привязаться друг к другу, хотя это был только перекресток. На нем мы встретились, чтоб неизбежно разойтись... Каждая должна найти свою гавань, свою пристань, свой уголок на земле, свое пристанище... А пока у каждой была своя неустроенность. И потому, живя среди них, я привыкла к ощущению, что все сижу и сижу «на какой-то пересадке и никак не доберусь до конечной станции»...

Всего этого не стало. Но зато я видела вокруг благо-

получие многих семей. И тогда вдруг я почувствовала то, чего не чувствовала все эти годы,— свое невероятное одиночество в окружении людей!.. Одиночество на людной улице или в людном зале... Тут-то и был, вероятно, самый трудный и самый переломный период моей жизни. Вероятно, легче бы мне было, если б можно было вот здесь же, сейчас же во всеуслышанье сказать, крикнуть, что у меня есть свой любимый, которого я жду и буду ждать, только помогите мне его дождаться!..

Но я должна была молчать...

Я написала Сане письмо. Я очень хочу к нему приехать. Уже год, как мы не видели друг друга. Я очень-очень хочу этого... Я не могу без этого... Ну, летом... Ведь у меня двухмесячный отпуск...

В марте пришел ответ. «Дорогая моя девочка! — писал мне Саня.— Приезжать ко мне совершенно бесполезно, ибо свидание абсолютно невозможно». Он писал, что «только на третье лето мы сможем увидеться», что «незачем думать о будущем, потому что это только расслабляет», что «надо искать смысла существования в сегодняшнем дне».

Наступила для Сани седьмая тюремная весна.

Пока шла тяжелая зима, было, кажется, даже легче, потому что у Сани была конкретная близкая очень важная цель в жизни — пережить во что бы то ни стало эту зиму. И он очень удачно пережил эту зиму, даже насморка серьезного не было, освобождение от врача брал всего на один день в декабре — по непонятной причине повысилась температура, а ничего не болело. А вот прошла зима «и не стало этой конкретной близкой цели». И снова почувствовал Саня то, о чем зимой не думалось, что «до конца срока по-прежнему далеко, жить по-прежнему тяжело».

\* \* \*

В связи с делами рязанского отделения Менделеевского общества, возможно, иногда просто под этим предлогом доцент С-в довольно часто навещал мою кафедру.

Как-то он зашел ко мне в институт, когда я уже собиралась идти домой. Предложил меня проводить. Я при-



гласила его зайти с нами пообедать. Они с моей мамой почувствовали друг к другу большую симпатию. Мама предложила ему заходить к нам. И он стал иногда приходить, порой — в мое отсутствие.

Я считала С-ва бездетным вдовцом. Маме он рассказал, что у него есть два сына. Мама относилась к В. С. с большой теплотой. Она боялась моего неизвестного будущего с Саней.

Когда В. С. предложил мне стать его женой, я сказала, что это абсолютно невозможно. Спустя некоторое время я объяснила ему, почему. В. С. все же не отступился.

Позже Александр Исаевич посчитает этого человека «негодяем за то, что он соблазнял к женитьбе жену живого мужа». А еще позже сам не остановится перед тем, чтобы при живой жене соблазнять женитьбой другую женщину...

Мы с В. С. стали чаще видеться. У нас были общие интересы по работе — ведь мы оба были физико-химиками. В. С. был старше меня на десять лет. Я получала от него немало полезных советов, стала ощущать в нем какую-то, может быть, первую в своей жизни настоящую мужскую опору: ведь я росла без отца, а с Саней мы были однолетки.

Летом того же 51-го года В. С. проявил такую напористость, что приехал в Ростов, где я была в то время, уговаривал маму повлиять на меня, а меня — поехать с ним к его родным. Вместо того я уехала в Кисловодск, к тете Жене.

У моей двоюродной сестры Нади только-только родилась Мариночка, смешной такой несмышлениш... А Таниной Галке уже 6 лет, мотается на велосипеде... А у меня так никого никогда и не будет?.. Наше будущее с Саней казалось таким сверхдалеким... Он сам уже не воспринимался мной как живой человек во плоти и крови... Призрак... Скоро полтора года, как мы не виделись. Следующее письмо придет только осенью или зимой. Короткие открытки на имя тети Нины о получении посылок, будто отзвуки с другой планеты...

Прежние Санины письма, проникнутые всегда любовью, восхищением и преданностью, были для меня тем же, что угольки для горящего камина. А свидания — что сухие поленья, дающие яркую вспышку. И вот ни по-

леньев, ни угольков... Камин медленно угасал... Далекий любимый образ стал расплываться... Могу сравнить это с состоянием человека, получившего наркоз: все реальное от него куда-то уходит, рассеивается, тает, пока не наступит забытье...

А когда я получила в Кисловодске письмо от В. С., то почувствовала, что получила письмо от реального человека...

А Санино сердце ощутило что-то неладное в моем июльском письме к нему, написанном из того же Кисловодска. «Похоже было,— писал он мне позже,— что ты через силу его начала, но какая-то большая недоговоренность сковала твой язык, и ты через несколько строчек оборвала».

\* \* \*

С начала лета Саня, как он позже писал нам, работает «не физически». Лишь через много лет я узнала, что это значило. Один бывший «зэк» поздравил с выходом «Ивана Денисовича» своего «бригадира 104-й бригады».

С бригадирской должностью своей Саня справляется, она кажется ему необременительной. Чувствует себя здоровым и бодрым.

Бригада у него — интернациональная. Кроме русских, в бригаде — украинцы, латыши, эстонцы, даже поляк и венгр.

Этот венгр познакомил как-то Саню со своим земляком, Яношем Рожашом. Представил его Яношу как «своего бригадира Сашу».

Янош очень по душе пришелся Сане. Постепенно Саня узнал короткую биографию Яноша, тогда совсем молодого человека, почти юноши, потому, вероятно, и быстро научившегося довольно хорошо говорить по-русски.

Когда на незнакомом русском языке Рожашу прочли приговор, ему было только 18 лет. И хоть надолго оторвали Яноша от его родины, не было у него никакой озлобленности. Он всегда считал себя «просто жертвой войны».

Окруженный русскими, Янош все больше к ним привязывался. А особенно полюбил и оценил русских после

того, как посчитал себя обязанным жизнью одной медицинской сестре.

Когда в трудные послевоенные годы Янош был на лесоповале, то стал, было, «доходить». Положили его в стационар. Их выхаживали там две медицинские сестры. Особенно самоотверженной была сестра Дуся, матерински относившаяся к Яношу. Даже паек свой продавала в деревне, чтобы раздобыть для него молока. «Жаль, что она никогда не узнает, что я не забыл ее», — писал мне Янош Рожаш спустя уже много лет.

Русские люди, русская литература и поэзия, русские песни становятся ему все ближе и родней. Он запоминает одну за другой русские песни, стихи русских поэтов. Любимым поэтом Яноша стал Лермонтов.

В 1953 году Янош был реабилитирован и в конце того же года уехал на родину, в Венгрию, где стал работать бухгалтером. Через год женился. Сейчас у него два сына и дочь. Казалось бы, все есть для счастья. Ан нет... Не хватает Яношу его второй родины, России. Не хватает ему тех далеких друзей, с которыми делил он когда-то «судьбу горькую, но молодую». И он у себя дома создал уголок, который называет «маленькой Россией», где у него хранятся пластинки с русскими песнями, русские книги. Произведений русских классиков — «полный полк» в его библиотеке.

По работе Яношу частенько приходится выезжать в деревню. Если погода хороша — из одной деревни в другую идет пешком. И любит при этом петь песни: то венгерские, то русские, то украинские... «Я один, — пишет он, — не слышит меня никто, только птицы небесные, да кусты придорожные». Из русских песен он очень любит напевать «Вот мчится тройка почтовая...» Но когда запоет по-русски, становится больно, что не увидать ему его бывших русских друзей, которых полюбил «за доброе сердце». Растерялись все.

С какой бы радостью писал и писал Янош Солженицыну, но Александру Исаевичу было некогда, все больше и больше дорожил он временем. И я старалась, как могла, как-то заменить Яношу его Сашу. Мы с ним обмениваемся письмами, фотографиями.

С большим интересом следит Янош за жизнью своей второй родины. Он читает советские газеты и журналы. А когда в 66-м году на страницах «Правды» читал мате-

риалы XXIII съезда партии, то особым вниманием прочел то, что первый секретарь ЦК Казахстана Д. А. Кунаев говорил о городе Экибастузе. Яношу вспомнились «ряды зеленых палаток, над которыми уныло барабанил дождь. Потом выстроили дома. Сперва деревянные, потом каменные. Задымили трубы заводские, укатились первые эшелоны». И он горд, что «был одним из первых строителей города, о котором столько упоминали на трибуне партсъезда».

Второе из разрешенных писем за 51-й год, написанное нам Саней в ноябре, не дошло. И получилось так, будто он не писал нам целый год: от марта 51-го до марта 52-го.

Хотя времени, свободного от работы, было мало, Сания успевал все же и читать не так уж мало. Когда спустя два года подвел итоги, то оказалось, что он прочел «стихи Баратынского, прозу Герцена, «Северное сияние» Марич, «Лунный камень» Коллинза, «Обрыв», «Обломов», немного Чехова, Островского пяток пьес, чуть-чуть Шедрина». Да еще каждодневно читал своего любимого Даля.

О том, что настроение остается у Сани умиротворенным, говорят и его стихи того времени «Право узника». В них он призывает:

«Будь из всех наших прав не былых —наималым  
Затаенное право на равную месть».

Ныне он придерживается, по-видимому, другой философии...

Вторая «экибастузская» зима была совсем не похожа на предыдущую, была просто изумительная — «теплая, бесснежная, чудо какое-то». Ни одного бурана не было. И так — до февраля, который «надавил 30°-ными морозами».

Небольшая опухоль (она была у Сани и раньше, но не привлекала внимания) начала в январе очень быстро, со дня на день, расти. Ничего другого не оставалось, как ее удалить.

Всякий человек перед операцией волнуется. Сане тоже беспокойно. Да еще не на воле! Не выберешь, к какому доктору обратиться, в какую больницу лечь... На что надеяться?.. На что положиться?.. На судьбу?.. Вот он

давно уже в нее верит. А что такое судьба?.. Его мама всегда на Бога надеялась и его так учила в детстве. Почему он отошел от этого?.. Может быть, из-за того, что уже в школе убедился, что существование Бога не докажешь... Как и то, что его нет, впрочем, тоже... На судьбу можно лишь надеяться... Богу же можно еще и помолиться...

В последних числах января Саня лег в больницу. Оперировали его 12 февраля, под местной анестезией. Врачи разъяснили ему, что «опухоль не имела спаек с окружающими тканями, сохраняла до самого момента операции подвижность и капсуловидную замкнутость и поэтому не могла дать метастазов». Так писал сам Саня. «Поэтому оснований для дальнейших беспокойств, как уверяют врачи, нет».

Очень кстати через несколько дней после операции пришла посылка. Уже можно было есть все без ограничений, а для поправки самый раз.

Через две недели Саня выписался из больницы.

И вот в марте он пишет нам, что выглядит хорошо, несмотря на перенесенную операцию, и чувствует себя крепко.

К этому времени он получил от тети Нины те учебники, которые незадолго до того просил ему прислать. Собирается заняться подготовкой к учительской деятельности... Просил он арифметику и геометрию. Да не просто какой-нибудь курс геометрии, а «лучше не стабильный» (стабильного он ничего не любит!), да издания более раннего, «где в тексте много задач на построение».

Человек с высшим математическим образованием, который и в «шарашке» ею занимался, наверняка математику не забыл и легко сможет преподавать ее в сельской, как он уверен, школе! Но Солженицыну хочется уже для себя, для какого-то внутреннего удовлетворения даже в сельской школе выступить чуть ли не реформатором методики преподавания математики! Вести ее на самом высшем уровне!

Что ждет Саню через год — неизвестно. Будущее в полном тумане.

Кое-что в лагере теперь изменилось. Режим стал мягче. И с питанием лучше стало. И кино стали чаще показывать.

Многих теперь в лагере не досчитаешься. Уехали с этапом Дмитрий Панин, Павел Гай и другие.

Работа теперь у Сани другая. Стал было учиться столярному делу. «Хорошо бы еще этой специальностью овладеть», — мечтается Сане. И клянет свое воспитание «интеллигента-белоручки». Сколько оно досадило ему в жизни! «Вырастает тридцатилетний оболтус, — жалуется он нам, — прочитывает тысячи книг, а не может наточить топора или насадить ручки на молоток».

Но не судьба овладеть Сане столярным делом! Вскоре он уже — рабочий в литейном цеху. Вот об этом даже память осталась: алюминиевая ложка. Ему была она дорога. Потому что он сам отливал ее в песке из алюминиевого провода.

Идет последний лагерный Санин год... Как тяжел он оказался! «Невыразимо медленно тянутся недели и месяцы». И оставшийся срок все еще кажется «очень и очень большим».

\* \* \*

Когда в конце августа 51-го года к началу учебного года мы с мамой вернулись в Рязань, нас встретил В. С. В ожидавшем нас такси лежал букет цветов. В ту осень к В. С. приехал его старший сын — живой, смысленный мальчуган.

Виделись мы с В. С. очень часто: и дома, и на кафедре. Стали вести совместную научную работу. Но всю зиму была еще неопределенность. На чашу и без того колеблющихся весов легло еще одно обстоятельство... Однажды начальница спецчасти института вызвала меня и сказала, что директор просит меня заполнить... вот эту анкету. Такую же, какую мне осенью 48-го пришлось заполнять в Москве.

Пришлось сказать, что у меня брак с бывшим мужем находится в процессе расторжения. Сведения о Сане я, как и тогда, написала в графе о бывшем муже. Значит, брак надо расторгать. Теперь это уже неизбежно!

В то время необходимы были публикации в газете. Не желая, чтобы в Рязани все стало известно, я поехала

в Москву и, притворившись москвичкой, возобновила в Московском городском суде дело о разводе с Солженицыным А. И. Адрес я указала Туркиных.

На полную перестройку своей жизни я решила в вес-ной 52-го года. О регистрации наших с В. С. отношений речи не было, потому что у меня не был расторгнут брак с Саней. Просто с какого-то времени мы назвались для всех мужем и женой. Так оно осталось и после получения мной официального развода с Саней.

Написанное Саней в ноябре 51-го года письмо не до-шло. Но теперь не только он, но и я ему уже не писала. Не могла писать. Послала только поздравление ко дню рождения, пожелав ему «счастья в его жизни».

У меня не хватало мужества писать Сане о своих колебаниях, пока я еще не решила. Но и когда реши-лась — все еще медлила. Вероятно, это было малоду-шием, которому я искала оправдание в том, что в его лагере все равно нет женщин, а потому в его судьбе ни-что не может в этом смысле измениться... Быть может, так, постепенно, сперва только заподозрив недоброе, он легче примет то, что произошло...

И я все молчала, хотя понимала и знала, что Саню это не может не беспокоить. В конце концов, он настой-чиво попросил тетю Нину «рассеять неясность». По моей просьбе тетя Нина в сентябре 52-го года написала Сане: «Наташа просила Вам передать, что Вы можете устраи-вать свою жизнь независимо от нее».

Не буду себя ни оправдывать, ни винить. Я не смогла через все годы испытаний пронести свою «святость». Я стала жить реальной жизнью.

Объяснение тети Нины Саню не удовлетворило и он попросил меня написать все, как оно есть. Неужели же наше супружество может кончиться «такой незначашей загадочной фразой»?.. Он заверял меня, что в любом случае, что бы ни случилось, он ни в чем не смеет упре-кать меня, потому что виноват передо мною только он, он принес мне «так мало радости», он всегда будет «моим должником»...

Я написала Сане, что у меня есть семья и что это настоящее...

На этом наша переписка на некоторое время оборва-лась...

Если бы Солженицын встретился с Шуховым не в 50-м году, а лет на пять раньше, мало бы нашлось между ними сходного, хоть и тогда было бы. Ведь мужичок себе на уме, Шухов где-то пересекается с интеллигентом себе на уме Солженицыным! И экономия своих духовных и физических сил, и в общем-то рационалистическое отношение к жизни, расчетливость и бережливость. Поговорку *«запасливый лучше богатого»* Солженицын вполне и к себе мог бы применить!..

Но в том бы они резко отличались, что Шухов, несмотря на всю свою хитрецу и оборотистость, *«как человек робкий»*, не умел *«шуметь и качать права»*, как с успехом делал это Солженицын в «шарашке» и Нержин в «Круге первом». То пять граммов подболточной муки, то польские золотые вытребовал, дойдя до Верховного Совета... То Даля не дал отобрать, то Есенина вытребовал у администрации вместе с моей надписью на нем: *«Так и все утерянное к тебе вернется!»* — больно хорошо в законах разбирался...

А теперь и философия жизни у них общая стала. Будь что будет! Ни страха, ни беспокойства перед тем, чему суждено быть... В повести есть и другие простые люди: бригадир Тюрин, помбригадира Павло, но именно Иван Денисович ближе всех к самому Солженицыну, а потому и выбран в главные герои. По духовному настрою, по отношению к жизни, по оценке людей и событий Шухов гораздо ближе к интеллигенту Солженицыну, чем звонкий капитан Буйновский, чем интеллигент Цезарь Маркович.

Казалось бы, в задумке автора Шухов — самый рядовой из рядовых! Он и на фронте рядовой, он и в колхозе был рядовым, и здесь в бригаде, хотя он и хороший мастер, все же только рядовой! И автором это все время подчеркивается. А вдуматься — так Шухов увидится далеко не рядовым... И в этом — снова сходство между ними.



## Сельский учитель

Когда из Экибастуза, отбыв свой срок, Саня ехал в Кок-Терек, районный центр в Казахстане, то проезжал Талды-Курган — место нашей с мамой эвакуации в 1942—1944 гг. Теперь конец февраля 53-го года. Меня давно там не было. И вообще меня у него тогда не было.

В первых числах марта он получил удостоверение ссыльного.

Лагерная жизнь Солженицына кончилась. Ссылная еще не началась. И как ее начинать?..

Ему не сразу разрешили учительствовать. Какое-то время пришлось поработать экономистом-плановиком в райпотребсоюзе. Все же еще до конца учебного года Саня стал преподавателем, принимал выпускные экзамены.

Учебная нагрузка навалилась на него сразу большая. Саня дорожит тем, что у него за последние годы успокоились нервы, появились добродушие и уступчивость, и немножко побаивается, чтобы суматошная школьная жизнь не вызвала обратных изменений...

Налаживать по-настоящему быт как-то не хочется. Может, ему совсем недолго быть в ссылке?.. Сталин-то умер... И Саня чувствует себя, как на пересадочной станции: «в любую минуту взял чемодан, надел рюкзак — и садись на поезд».

Саня знакомится и быстро сходится с пожилыми супругами Зубовыми, тоже ссыльными. Довольно ясно пред-

стают они в повести «Раковый корпус» под фамилией Кадминых. Но только Зубовы духовно богаче. Николай Иванович, врач-гинеколог, — большой эрудит. Чего только он не знает: и языки, и историю, и архитектуру и многое другое. А Елена Александровна тонко чувствует литературу, поэзию...

Зубовы обладают прекрасным свойством — радоваться малому. В их доме не услышишь нытья и жалоб...

Начинается новый учебный год. Подвертывается случай снять отдельную хатку. Ну что же, работа в школе надежная. Надо же как-то наладить свой быт. А раз будет отдельная хата — он сможет еще и безбоязненно писать столько, сколько захочет...

При домике есть огород. Сразу за «забором» из колючих веток джунгля начинаются степь, на горизонте синеют Чу-Илийские горы... По его улице не ездят вовсе; ничего на ней нет, «кроме глухой полевой тропинки», а потому «тишина изумительная».

Квартирка (комната, кухня, коридор) хоть и с земляным полом, но чисто выбеленная, светленькая. В комнате два окна: на юг и на запад, в кухне — одно, на юг.

Обстановка хоть и убогая, но на первых порах и это сойдет. «Кровать» — из трех ящиков с матрацем и подушкой, набитыми стружками. На топчане сложены книги, стоит чемодан, который пока служит столом. Из большого ящика Саня сколотил себе «посудный шкаф» с фанерными полками. Скоро появляется уже и настоящий стол. А табуретка вместо стула к нему есть.

Мечтается о радиоприемнике, чтобы была музыка. Зарплата у него будет выражаться четырехзначным числом, так что можно себе позволить и эту роскошь!

Не хватает только одного — хозяйки в этом домике.

Здесь, в Кок-Тереке, он считается совсем не плохим женихом. Есть и вполне симпатичные миленькие девушки и из учительниц, да и другие...

\* \* \*

Я знала от тети Нины, что Саня освободился, вышел из лагеря. Знала и место его ссылки.

Конечно, моей мечтой было, чтобы Санина личная жизнь устроилась. Только тогда могло бы прийти ко мне

полное успокоение. Но должны ли мы с ним, сможем ли совсем забыть друг друга?

И где-то в конце августа я написала Сане письмо, письмо-просьбу. Это письмо вошло в нашу семейную историю под названием «письма о параллельных лестницах». Я просила Саню о дружеской переписке между нами, о каком-то духовном общении, о жизненном восхождении «по параллельным лестницам».

Получив это письмо, Саня, как он написал мне, испытал сначала радостное изумление. Оно как бы подтверждало то, что ему сказал еще в лагере один человек, знакомый с графологией, которому Саня показал мое последнее письмо. Испытываемое мной «душевное крушение», сознание того, что «не состоялась необыкновенная жизнь» и... прежняя любовь к Сане.

Саня примет меня с прежней любовью, если я вернусь к нему, бросив «все, что наделала за эти два года». Если же этого не произойдет, то переписке нашей все равно долго не продержаться. Отдаю ли я себе отчет, что мне придется жить «двойной жизнью»? А если он женится, хотя бы даже «просто из практических соображений», то «переписке нашей все равно не существовать».

Он заверяет меня, что, каково бы ни было мое решение, не обидится и не рассердится на меня, как не обижался и раньше. «Я знаю, как я бывал в жизни слаб,— пишет он мне,— видел, как другие, и легко могу понять и оправдать и твою слабость. Тот Санчик, которого ты когда-то знала и совершенно незаслуженно любила,— тот бы тебе этого не простил. А теперешний даже не знает — есть ли тут что прощать. Наверно, я виновен перед тобой больше. И во всяком случае, я тебе жизни не спасал, а ты мне спасла, и больше, чем жизнь».

Не пришли мне Саня такого ультимативного письма, потянься бы между нами переписка, может быть, все произошло бы совсем-совсем иначе... На этом наша переписка с Саней снова оборвалась.

И почти тотчас же к Сане пришла болезнь. Перебегающие боли в области желудка. Аппетита нет. Все больше худеет. То ли гастрит, то ли язва. Николай Иванович пытается его лечить, но все бесполезно. Нужны анализы, нужны врачи-специалисты.

Ему разрешают выехать в Джембул, областной центр, для консультации с врачами.

Настроение у Сани подавленное. И он пишет одной моей подруге, тогда одинокой, с которой некоторое время до этого начал переписываться. Он горячо просит ее в случае его смерти приехать сюда, в Кок-Терек, и распорядиться остатками его имущества. (Под «имуществом» он подразумевал свои произведения).

В Джамбуле Саня прошел все анализы. Сделан ему рентген. Нет, это — не язва и вообще не желудочное заболевание. Это — опухоль величиной с большой кулак, которая выросла из задней стенки брюшной полости. Она давит на желудок и вызывает боли. Очень может быть, что опухоль эта, увы... злокачественная.

Связана ли она с той, которую ему удалили в Экибастузе? Но та опухоль до последнего момента еще сохраняла подвижность, и врачи были уверены, что она не дала метастазов. А может быть, все-таки... дала?..

Одни врачи склонны думать, что это метастаз старой опухоли: совпадает и период роста опухоли и лимфатические пути распространения метастаза. Другие считают, что эта опухоль — самостоятельная, малорастущая, даже застарелая и вовсе не злокачественная. Кому же верить? Во всяком случае, надо быть готовым к худшему!

В Джамбуле он услышал об иссык-кульском корне. Ему удалось его немного достать. Попробует попринимать...

Первые дни после возвращения из Джамбула, в начале декабря, Саня чувствует себя хорошо. Вернулся аппетит. Но он не тешит себя иллюзиями. Смерть кажется ему почти что неизбежной. Утешение он видит в том, что не верит в полноту нашей смерти: «какая-то духовная субстанция остается».

В Джамбуле ему дали направление в Ташкентский онкологический диспансер. Пожалуй, придется съездить туда на зимние каникулы! Но на что соглашаться: на операцию ли, на рентгено- или радиотерапию? Или, вернее... иссык-кульский корешок?..

Разрешение на выезд в Ташкент получено. Состояние — приличное. Снова пьет Саня иссык-куль. С ним он и едет в канун Нового 54-го года в Ташкент.

Ташкент. На следующий день — на приеме в онкодиспансере. Врач считает, что это — метастаз. Операция — маловероятна. Нужна рентгенотерапия. И она дает направление в «лучевое» отделение клиники.

На следующий день, 4 января, Саню положили в клинику — больница ТашМИ\*, 13-й корпус.

Уже через день расчертили Сане живот на четыре квадрата и стали их по очереди облучать. Через день, а потом и каждый день. Одновременно ему стали давать какие-то таблетки.

Заведующая лучевым отделением Лидия Александровна Дунаева, лечащий врач Ирина Емельяновна Мейке уверяют Солженицына, что рентгеном разрушат ему опухоль, а таблетки — в помощь!..

Полтора месяца пробыл Саня в онкодиспансере. 55 сеансов рентгена. 12 000 эр. Опухоль, хоть и не до конца, но в значительной степени разрушена. Ему велено приехать сюда снова к 1-му июня. Это уже неплохой признак, иным велят явиться через месяц и даже через две недели. А все-таки не оставляет сомнения: возвращена ему жизнь или только поманили его? Отпраздновал свой выход из 13-го корпуса походом в театр на балет Дриго «Эсмеральда».

Съездив в горы, к старику Кременцову, за иссык-кульским корнем и получив его пригоршню, Саня возвращается в свой Кок-Терек совсем в другом настроении, чем уезжал. Тогда была маленькая надежда, а сейчас он ощущает возврат к жизни. Совсем ничего не болит. Вот счастье-то! Надолго ли?.. Корень тем временем настаивается. Скоро начнет его пить. Рентген — рентгеном, а корень — корнем.

В одном из своих писем к маме Саня попросил ее прислать ему свою фотографию. Жалел, что нет у него фотографий его родителей. Писал, что у него «как у старика — появилось бережное отношение к прошлому, ни частицы не хочется потерять из него».

Тогда было бережное. А... сейчас? А сейчас у Солженицына вообще нет прошлого. «Я все забыл, что тебе писал!» — услышала я от него в конце 70-го года. «Ты была моим воображаемым образом!» «Понимаешь? В письмах я преувеличивал!..»

Перевалив через зенит своей жизни, Солженицын не приобрел ту дальноркость старости, которая помогает нам не замечать морщин на лицах тех, кто стареет вместе с нами, сглаживает их. Ту спасительную дальнор-

---

\* ТашМИ—Ташкентский медицинский институт.

кость, которая помогает видеть в прошлом самое большое и самое главное и уже не дает рассмотреть мелкие досадные факты своей жизни, мелкие проступки свои и других.

Солженицын с годами становится, напротив, все более близоруким. Роясь в своей прошлой жизни, выкапывая из своей памяти мелкие факты, он рассматривает их в лупу, а на большое, на главное смотрит в перевернутый бинокль. Большое уменьшено, малое увеличено. Масштабы смещены. Порядок величин, говоря математическим языком, спутан.

То, что я говорю, относится к оценкам поступков когда-то близких Солженицыну людей и его собственных — по отношению к ним. Распространяется ли это на большее, я не берусь судить. Един ли Солженицын в себе самом или он стал походить на широко разверстые ножницы?..

\* \* \*

В то время, когда Александр Солженицын успешно лечился в Ташкентском онкодиспансере, его когда-то самый близкий друг, Николай Виткевич, освободившись, приехал в Ростов. В том лагере, где он кончал срок, были «зачеты». Потому он отсидел не 10 лет, полученных по приговору Военного трибунала, а немногим менее 9-ти. В Ростове его не прописывают и он поселяется в Таганроге.

В конце марта 54-го года я получила от Николая письмо. Он писал, что «целиком поглощен поисками работы». Трудности, с которыми он встретился на первых порах, возвратившись домой, его не пугают. Ведь он «уже прошел огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы». А потом у него есть заботливые мама и бабушка.

Когда я увиделась с Николаем летом следующего, 55-го года, он уже жил в Ростове. Штатной работы у него в то время не было. Эмиль Мазин обеспечивал его «двоечниками» по математике, которых Николай с успехом репетировал, даже приобретя на этом поприще определенную славу.

Оживленной переписки, как в былое время, у нас с Николаем не получилось, но время от времени мы перебрасывались письмами.

Николай охотно прокомментировал бы какой-нибудь мой химический доклад или лекцию. «Я отвечу своим впечатлением, задам два-три наивных вопроса и ты сможешь судить, погиб ли я для химии окончательно или еще сохранилась надежда?» — шутит он.

Лекцию я послать ему не рискнула, а послала сочиненную мной популярную «химическую пьесу», которая называлась «Настоящее шампанское» (или «День рождения химика») и с успехом «прошла» на моей институтской сцене. Похвалив меня за то, что я нашла удачную форму популяризации химии, ибо в пьесе можно показать, а химия без показа не доходит, Николай раскритиковал зато моего «героя», признав в нем «заученного чудака». По его мнению, нужен герой, который бы «толково и обстоятельно демонстрировал мощь химии окружающим его невеждам». Одним словом: «больше химии и меньше шампанского!..»

Начав свою послелагерную жизнь с репетиторства по математике, Николай шутил, что тот факт, что он химик, им не забыт, «чего нельзя сказать о самой химии».

Через два года после его освобождения времена изменились. И наличие 14-летнего производственного стажа (4 года — фронт и 10 лет — работа на заводах и стройках страны — так квалифицировались теперь его злоключения) сыграло немаловажную роль при зачислении Николая Виткевича осенью 56-го года аспирантом кафедры органической химии Ростовского университета. Еще — блестяще сданные экзамены и еще — присланный Степуховичем из Саратова фотоотпечаток их общей статьи.

\* \* \*

В 54-м году Саня купил домик в Кок-Тереке — тот самый, который раньше снимал. Ему сделали еще и погреб. За засаженным огородом хозяйка будет ухаживать, пока он снова будет в Ташкенте, а урожай — ему. А где еще найти такую тишину?.. Особенно прекрасны лунные ночи. Просто душа растворяется — степь, небо и ничего больше... А как стало теплеть — прогулки к реке Чу, сон на открытом воздухе...

Здесь так хорошо ему пишется.

И ведь есть в Кок-Тереке еще Зубовы, которые совсем по-родительски относятся к Сане.

Самочувствие у Сани превосходное. Но ничего не поделаешь,— надо ехать в Ташкент!

21 июня он уже снова в 13-м корпусе. Приняли Солженицына в онкодиспансере очень ласково. Нашли, что он изменился неузнаваемо. Но, тем не менее, еще до всякого серьезного осмотра, сказали, что кладут его на месяц.

Пробыть в онкодиспансере пришлось почти два месяца. Когда лейкоциты слишком падали, рентген приостанавливали.

Но вот пришел конец лечению. Теперь Солженицын придет сюда лишь через 10 лет, весной 64-го года. Приедет не для консультации, не для лечения. Приедет потому, что задумает писать повесть об этом «раковом» корпусе...

А пока, выписавшись из клиники, он бродит по Ташкенту. Куплен плащ. А главное — фотоаппарат.

Фотообъектив его «Зоркого» с жадностью ловит зверей Ташкентского зоопарка.

Новый, 55-й год Саня встречал вместе с девушкой, которой симпатизировал. А все-таки жениться на ней не решился, хоть и смертельно надоело жить бобылем. Вдруг опять заболит? И поухаживать некому... Плохо одинокому. И, поскольку в Кок-Тереке он не находит той, на которой бы мог и хотел жениться, которой мог бы довериться, у него начинает зреть план женитьбы не через очное, а через письменное знакомство.

Первые его жизненные опыты, рождающиеся из фантастических, чисто умозрительных построений.

Переписка... Высказывается желание познакомиться... Он поедет к ней, летом...

Лето 55-го года — первый его отдых за целых 15 лет! С 40-го года.

Завесившись от изнурительной казахстанской жары, он целыми днями сидит дома: пишет, читает, слушает музыку. К вечеру, когда спадает жара, идет на реку, подолгу купается. Ночью спит на открытом воздухе.

Заканчивает пьесу «Республика труда» (будущая «Олень и шалашовка») и понемножку принимается за роман. Роман о «Марфинской шарашке».



К этому времени Саню разыскали его лагерные друзья: Дмитрий Панин и Лев Копелев. Идут письма. Даже прислан карандашный портрет, который сделал с него в свое время Сергей Михайлович Ивашев-Мусатов.

А вышло случайно.

У входа в московский универмаг — ЦУМ — я столкнулась с Евгенией Ивановной Паниной.

Евгения Ивановна очень возбужденно стала рассказывать о том, что пришлось пережить ей, когда она смогла, наконец, приехать к мужу в Кустанай, куда он был сослан. Он оказался там... не один!..

Но она (о, женщина!) все-таки хлопочет о том, чтобы вернуть мужа в Москву...

Евгения Ивановна забросала меня вопросами о Сане. Только теперь нам стало известно, что наши мужья в лагере были между собой очень дружны. Ее Митя во что бы то ни стало хочет разыскать Саню. Знаю ли я его адрес?.. Да, конечно. Здесь, в Москве, живет еще один их общий друг, Лев Копелев.

Оба друга, узнав таким образом местонахождение Сани, стали уговаривать его хлопотать о снятии ограничений. Писала об этом Сане и Евгения Ивановна. Но Саня не спешит.

Ездил на этот раз Саня не в Ташкент, а в Караганду — рассеяться, а может, и жениться. Но хозяйки с собой в Кок-Терек он не привез. Первый из его фантастических планов женитьбы реализован не был.

Осенняя амнистия 55-го года пробудила маленькую надежду. Может быть, она и к нему имеет отношение?.. Освободят от ссылки?..

Куда податься?.. Жить в городе он не хочет. Спешка, соседи, трамвай, невыключенные громкоговорители за стеной и всякое прочее. Поселиться бы где-нибудь в сельской местности в Средней России, лучше бы не на железной дороге и не в районном центре, а в глуши. Во многом Сане так хорошо в его Кок-Тереке, что ничего другого как будто и не хочется.

\* \* \*

Совершенно неожиданно в апреле 56-го года я получила от Сани письмо. Он сообщал мне, что его освободили от ссылки со снятием судимости. Писал, что хо-

чет переехать в Среднюю Россию и устроиться в каком-нибудь «берендеевом уголке», что в связи с этим завязал переписку с Ивановским и Владимирским облоно. Спрашивал, не могу ли я узнать, не нуждается ли Рязанская область в физиках или математиках, и при этом заверял, что, если и будет жить в Рязанской области, «никакой тени» на мою жизнь «отбрасывать не будет».

В Рязанском облоно мне разъяснили, что математики и физики в нашей области «в избытке», о чем я и написала Сане, советуя устраиваться в городе.

Кончается учебный год. В четвертый раз выпускает Саня десятые классы.

Дом ему удастся продать. Нехитрая мебель раздается...

Распростившись со школой, с Еленой Александровной и Николаем Ивановичем Зубовыми, Солженицын 20 июня покидает Кок-Терек.

Александр сообщил, что где бы он ни был, о его местопребывании всегда будет знать жена его друга Панина. Как-то, приехав в Москву и остановившись у Лиды, я набираю номер рабочего телефона Евгении Ивановны, которую предупредила открыткой, что в этот день приеду и ей позвоню.

«Саня здесь и ждет вас на Девятинском...»

Вечером я еду на Девятинский переулок. Я шла... на расплату! Тяжело поднималась по лестнице, будто на Голгофу! Евгения Ивановна встретила меня, провела в комнату. Саня с Паниным сидели в углу за круглым столом и пили чай. Оба поднялись.

Супруги Панины скоро постарались оставить нас вдвоем.

И вдруг как-то совсем просто мы заговорили.

Саня делился планами своего будущего устройства: скорее всего — во Владимирской области. Я слушала о возможной и даже почти реальной его реабилитации, и это было каким-то продолжением нашей с ним жизни, нашей общей беды.

Потом Саня проводил меня к дому, где жила Лида, — это было недалеко. Вел меня под руку. Пошел дождь. Мы укрылись, как бывало в юности, в каком-то парадном. Он расспрашивал меня, стараясь понять, как все

это произошло. Что-то отвечала... Я жила в это время то ли прошлым, в которое провалилась из настоящего, то ли настоящим, как бы вынырнувшим из далекого прошлого. Сказала ему: «Я была создана, чтобы любить тебя одного, но судьба рассудила иначе».

Прощаясь, он вручил мне то, что за эти годы было в стихах написано мне или про меня.

Когда все в доме уже спали, я стала читать:

«Вот опять, опять всю ночь мне снилась  
Милая, родимая жена».

«Вечерний снег, вечерний снег  
Напоминает мне бульвар,  
Твой воротник, твой звонкий смех,  
Снежинок блеск, дыханья пар...»

И самые ранящие строки:

«...Но есть в конце пути мой дом  
И ждет меня с любовью в нем  
Моя, всегда моя жена».

Проснувшись утром, постаралась стряхнуть все, на меня нахлынувшее. Нарочно развивала повышенную деятельность, хотя с Лидочкой все же нашла случай поделиться, что свидание с Саней и его стихи разбередили мне душу.

Вечером уехала в Рязань. Решив во что бы то ни стало подавить свое смятение, дома я настолько расхрабрилась, что сказала В. С., что виделась со своим бывшим мужем, но что от этого ничего не изменилось — все остается по-старому.

Все больше начинали мучить угрызения совести. Старалась задушить, не поддаваться... Но уже ничего не могла с собой сделать. Уединяясь, все читала и перечитывала стихи.

В. С. первый ощутил, что я отдаляюсь от него, уйду в себя. Он все делал, чтобы не дать мне ускользнуть от него: катал меня на лодке по Оке (у нас была своя лодка с мотором), свозил меня в Солотчу (до этого мы почему-то никогда там не бывали), где купил нам палатки в тамошний дом отдыха на август. Но я была мыслями где-то далеко, ничто меня не отвлекало от них, ничто не развлекало. Начинаясь здесь лес тянулся в ту самую Владимирскую область, где будет, возможно,

жить Саня, в ту же сторону вела узкоколейка... И оттуда пришло письмо:

«...если ты имеешь к тому желание и считаешь это возможным, можешь мне писать. Мой адрес с 21-го августа: Владимирская обл...»

Протерзавшись месяц и убедившись, что чувство мое к первому мужу не просто воскресло, но все больше и больше утверждалось, я решила откровенно поговорить со своей самой близкой подругой Лидой, для чего поехала к ней в подмосковный санаторий. Она пришла в отчаяние, очень симпатизируя моей новой семье. Много было ею приведено аргументов, я же в ответ — только плакала. И чувство вины и вновь вспыхнувшая любовь требовала разрядки. Скрепя сердце, Лида благословила меня написать Сане письмо.

Тем летом Саня побывал в Ростове. Оттуда он ездил потом в Георгиевск, Пятигорск, Кисловодск повидаться с родными. А перед Ростовом он побывал на Урале, где жила сестра Е. А. Зубовой со своей дочерью Наташей. Вместе с Зубовыми было решено, что она для него подходящая невеста. Друг друга они до того никогда не видели, лишь перебросились несколькими письмами. Он пробыл там две недели; девушка ему понравилась и он предложил ей считаться его невестой. Но та была напугана его стремительностью. Уезжая, он не знал, как будет дальше — ничего решено не было...

Начался учебный год. В свободное от института время я садилась к роялю — только ему могла я поведать обо всем, что происходило в моей душе... Пришли на память слова человека, который гадал мне по руке и по фотографиям в остротяжелое для меня время, когда муж мой пропал без вести, прекратились письма от него с фронта. О прошлом он сказал мне правду, о настоящем — туманно. Но на вопрос, соединимся ли мы с мужем, ответил: «Это будет зависеть от вас». Тогда такое мне показалось диким, а вот ведь стало походить на правду...

В очередном письме Саня писал, что сам удивляется, какой большой сдвиг в мою сторону произошел за эти два месяца... И все чаще он начинал думать, что, может быть, и правда возможно новое счастье? Он предлагал встретиться, чтобы разобраться в своих чувствах, но, поскольку не он, а я была виновна в нашем с ним разъеди-

нении, ехать должна была к нему я... Он предлагал — на три дня.

В. С. приглашен на юбилей знакомого профессора в Одессу. Я говорю маме, что меня вызывают в Москву в связи с Саниной реабилитацией. Мама видит мое возбуждение, но не понимает его причины. 19-го октября еду на вокзал и беру билет до... Торфопродукта.

Вечером в поезде в окно мне светила луна, и на сердце, несмотря на то, что сознавала греховность свою, было предчувствие счастья.

Саня, в коричневом плаще и серой шляпе, встретил меня.

Со станции мы пошли безлюдной дорогой через степь по направлению к деревне Мильцево, где в хате Матрены Васильевны Захаровой жил «Исаич», как она его называла («Игнатич» в рассказе «Матренин двор»). Светила луна. В тени скрывшего нас от нее аккуратно сложенного стожка мы остановились. Крепко обняв друг друга, горячо поцеловались и, как бывало в юности, моя хорошенькая коричневая шляпка с перышками упала на землю с моей запрокинутой головы. Все, все сразу вернулось... Не надо было слов, чтобы это почувствовать, понять, чтобы в это поверить...

«Как это ты сумела за эти месяцы так похудеть, помолодеть, похорошеть?» — спрашивал меня Саня.

А я и в самом деле еще летом рассталась с пучком на голове, укоротила и завила волосы — сейчас они были мне до плеч. Похудела, потому что давно лишилась аппетита из-за переживаний. Приехала в абрикосовой крепдешиновой блузке, сшитой по типу той, которая ему когда-то так нравилась. Но главное было не в этом. Если я действительно похорошела, то это от горевшего во мне внутреннего огня.

Дом, комната с фикусами, сама хозяйка его описаны подробно в рассказе «Матренин двор». Добавлю только, что Матрена Васильевна поразила меня своей деликатностью. Она ни о чем ни меня, ни «Исаича» не спрашивала, пока я сама не поведала ей своей истории. В ответ она рассказала мне свою, описанную в том же рассказе. Она больше оставляла нас вдвоем.

21 октября было воскресенье. К тому же это и именины покойной Саниной мамы. В этот день, который мы называли днем нашего воссоединения и несколько лет

ощущали, как большой наш общий праздник, мы с Саней не разлучались. Говорили без умолку, понимая друг друга с полуслова. Много фотографировались.

Саня считал своим долгом еще и еще предостеречь меня, на что я иду. Ведь он серьезно и безнадежно болен, обречен на недолгую жизнь. Ну год, ну два... Но я была непоколебима: «Ты мне нужен всякий — и живой, и умирающий...» Значит, и я нужна ему сейчас, особенно нужна, чтобы как-то скрасить последние годы его жизни, облегчить возможные страдания, а быть может, помочь побороть смерть?..

Когда Саня уходил в школу, я немножко хозяйничала, а больше читала кое-что из им написанного, написанного очень сжато, мелким почерком, на небольших листах (14×20 или 13×18 см). Узкие поля часто тоже были исписаны вставками. Но прочесть в первый свой проезд я успела мало, потому что, когда были вместе, мы или разговаривали или занимались каким-нибудь общим делом.

Говорили мы о наших теперь уже общих планах... Я готова была на все. Я и тогда сознавала, что причиняю большое горе хорошим людям. Но лишь теперь, оглядываясь назад, понимаю, как оно было велико!

Существовало ли тогда что-нибудь, что бы могло меня остановить?.. Вероятно, нет.

Даже если бы донесся голос из будущего: «Ну так как мы будем разводиться: мирно или через суд?..»

Могла ли бы я поверить, что когда-нибудь это может случиться?.. А если бы и поверила — нет, не остановилась бы!

«Я умоляю тебя, девочка моя, будь тверда до конца и без единого компромисса! Заставь меня тем самым поверить в твой новый характер!» Саня уже дорожил тем, что приобрел, уже боялся потерять меня.

Я старалась успокоить свою совесть тем, что я нужнее там, перед кем я виновней. Кого я люблю больше всех и всего на свете. Дать ему счастье, возродить в нем сильное желание жить — было тогда целью моей, моим единственным стремлением! То и это — несравнимо!..

Когда человек одержим чем-нибудь, он не останавливается перед препятствиями; сокрушая их, становится жестоким. Тогда я, вероятно, была жестокой. Многие порицали меня.

После ноябрьских праздников мы с В. С. окончательно разделили незатейливое наше добро и перевезли к нему, на улицу Свободы, те его вещи, что еще оставались на Касимовском.

\* \* \*

В первый раз Александр приехал в Рязань перед Новым годом, 30 декабря 56 года. 31-го, не смущаясь лютым морозом, мы бродили с ним по городу. Но нашей целью была не только прогулка к Рязанскому Кремлю, Собору, набережной реки Трубеж, мы еще собирались в этот день заново оформить свой брак, для чего и зашли в Рязанский городской загс. Однако желание наше удовлетворено не было: препятствие состояло в том, что у Сани в паспорте не было отметки о разводе... со мной (!) же.

Так, еще не законными, но счастливыми супругами встретили мы втроем, еще с мамой, Новый год. Через несколько дней мы съездили вместе с Саней в Москву, побывали у некоторых его и моих друзей. Зашли и в Московский городской суд, где в архиве нашлась предназначенная для него справка о разводе.

Зимой произошло и одно трагическое событие: неслепая неожиданная смерть Матрены Васильевны. Саня переселился к ее золовке. Дом был лучше, чище; комната отдельная, и все-таки он чувствовал себя там уже совсем не так, как у своей Матрены.

Наконец, прощай, Торфопродукт! Прощай, Мильцево! Прощай, изуродованная хата Матрены!

Неделю мы жили в Москве, в семье моего дяди В. К. Туркина.

В эти дни мы добывали билеты на теплоход, чтобы совершить маленькое водное путешествие по Волге и Оке, сделали кое-какие закупки. Самой важной среди них была покупка в ГУМе пишущей машинки «Моск-ва-4». В самом деле, теперь пришло время подумать о перепечатке на машинке готовых произведений. Надо учиться печатать самому! А я немного уже умею со времени Московского университета...

В Рязани летом 1957 года началось «тихое житье», как назвал мой муж тот отрезок нашей с ним жизни...

## «Тихое житье»

Началось наше «тихое житье» бурными хлопотами. Получение багажа, установка и перестановка мебели, перемонтаж электропроводки, разборка ящиков из-под багажа на стройматериалы, всевозможный мелкий домашний ремонт... И все это собственноручно.

Наконец, устройство завершено.

Наша с мужем 9-метровая квадратная комнатка вмещала два кабинета, библиотеку и спальню.

Друг против друга — два письменных стола: мужа — большой, строгий, с множеством ящиков; мой — маленький, старинный, на тонких резных ножках. Стены были обшиты книжными полками. Возле кровати — маленький круглый тоже старинный столик. На него мы клали книжки, которые читали перед сном.

Напротив наших окон, как и повсюду вокруг, стали подыматься высокие здания, зажглись электрические фонари, засветились многочисленные окна новых домов. Город наступал...

А в своей комнатке и дворике мы как-то этого ничего не чувствовали. В саду было тихо и пусто: дети в соседних квартирах тогда еще не появились, в доме напротив еще не разместился шумный склад продуктов, а по соседству во дворе Радиоинститута мотоциклов еще не испытывали.

В дальнем уголке у глухого забора, где развесистая яблоня образовывала как бы естественную беседку, муж



соорудил скамейку и столик. Кроме них, там еще помещались раскладные кровать и кресло. Целая зеленая комната!

«Таких условий не запомню в своей жизни», — писал Александр Исаевич друзьям по далекому Кок-Тереку — доктору Зубову и его жене. Шум города доносился глуховато, жара не ощущалась, воздух был совершенно очищен деревьями, не падало солнце, не пробивалась пыль. А сверху висели яблоки — протяни руку и грызи.

Невидимая нить к Зубовым, первым и пока почти единственным читателям его послелагерных произведений, будет тянуться без узелков, петель и разрывов до самой той поры, когда Александр Исаевич станет известен и его захлестнет поток иных писем, событий, знакомств.

Но пока что Зубовы в какой-то мере заменяют ему все остальное человечество.

Переписка с ними останется для обеих сторон на несколько лет неким священнодействием... Вместе с письмами путешествуют за тысячи километров вырезки из газет, интересные письма каких-то третьих лиц и, особенно часто, фотографии.

Знакомиться с моими приятелями муж не торопился. Более того, я должна была быть готова к тому, что мои связи с ними будут слабеть. Ведь ни один человек в городе не должен ничего знать, даже подозревать об истинной жизни моего мужа, о его творчестве.

Так мы превращались в затворников... Исключение могло быть сделано лишь для проверенных друзей, от которых не нужно было таиться. Первым таким гостем явился Николай Андреевич Потапов.

«Андреич», которого мы приняли уже в июле, нам с мамой очень понравился. Симпатичный, с мягким юмором. Он много рассказывал нам о своих былых заключениях. И, с большим энтузиазмом, — о своих нынешних делах на строительстве Куйбышевской ГЭС.

«Андреич» вводится в курс литературных дел моего мужа. Узнает, что пишется «Шарашка». Ему дается для прочтения глава «Улыбка Будды».

Следующий гость, другой лагерный друг мужа, придет к нам лишь полгода спустя. Им будет Дмитрий Михайлович Панин.

Встречи с лагерными друзьями будут происходить и всякий раз, когда какие-нибудь дела заставят мужа бывать в Москве. Копелев, Панин, Ивашев-Мусатов... Дружбой с ними Александр в то время очень дорожил...

Некоторой компенсацией нашему затворничеству явилось постепенное знакомство с рязанским краем. По-немногу, исподволь...

Тем летом мне как-то пришлось прочесть лекцию в Спасске, на Оке. Муж съездил со мной туда на теплоходе. Я не могла не обратить внимания, что мужа моего удивляла и даже как-то раздражала нарядно одетая веселая публика. За много лет отвык от этого, к тому же он вообще никогда не признавал «праздности».

С сентября муж начал работать в школе. В кабинете заведующего горно встретились директор 2-й рязанской школы и Александр. Напористость мужа, приводившего неопровержимые доводы, почему он должен быть устроен в первую очередь, произвела на директора впечатление и он стал расспрашивать Солженицына. Выяснилось, что воевали они где-то совсем рядом. Это было важнее университетского диплома с отличием, отличной характеристики и права реабилитированных на внеочередное устройство.

Постепенно мы оба овладевали пишущей машинкой. Я изучила распределение клавиатуры по пальцам по учебнику, запомнила расположение букв и начала набирать скорость. Александр Исаевич печатал всего двумя пальцами (указательным правой руки и средним левой), но надо отдать ему должное: по скорости он меня превзошел!

Первой работой, отпечатанной на машинке Александром, была статья о будущих искусственных спутниках Земли, заказанная ему для «Блокнота агитатора», издававшегося обкомом КПСС. Статье этой не суждено было увидеть свет. 4 октября запустили наш первый спутник! Зато в одном из октябрьских номеров «Приокской правды» писалось о лекторах, выступавших в связи с этим событием. Среди других была названа и фамилия «преподавателя физики 2-й средней школы тов. Солженицкого».

Тихо прошла годовщина нашего воссоединения. Отпраздновали мы ее вдвоем (мама была в отъезде) с рюмкой некрепкого вина, тотчас же после праздничного

обеда вернувшись к своим обычным занятиям. Об этом я записала в своем дневнике, добавив:

«Даже страшно иногда за наше счастье, настолько оно полное!»

В самом деле... Хоть и позже, чем мы когда-то ожидали, хоть и сложнее, драматичнее, а все же, казалось, исполнилось все, о чем мечталось когда-то.

И еще один необходимый элемент семейного счастья был у нас. Когда мама переехала ко мне в Рязань, Александр писал, что, по его представлению, дома не может быть без ангела — хранителя очага, женщины, которая нигде не работает, всегда дома, все знает, все видит и как-то спаивает в себе и через себя жителей дома и вещи, наполняющие его, в единое неповторимое и милое сердцу целое.

«Надеюсь еще много-много лет видеть Вас такой,— заключал он,— живя с Вами под одной крышей».

И у мужа ощущение счастья:

«Мы с Натуськой живем совершенно неразливно»,— пишет он Зубовым и добавляет, что особенно много значим друг для друга потому, что нет у нас детей и с нашей смертью окончимся и мы. Но он совершенно не жалеет, что нет детей.

Посещение кино, концертов, театров у нас строго лимитировалось: в кино мы разрешали себе бывать два раза в месяц, в театре или концерте — раз в два месяца. Все это регистрировалось. Если в какой-нибудь месяц мы превышали норму, то постились следующие месяцы.

Я была податлива (вероятно, сверх меры!), послушно шла на все ограничения: ведь я любила своего мужа, верила в него, как в значительную, необыкновенную личность, хотела, чтобы все было так, как он считал нужным. Вполне сознательно и совершенно добровольно шла на растворение в его личности.— Я же совершенно искренне обещала ему быть «душечкой»!

Так, незаметно, мало-помалу, обеднялась моя жизнь. Обеднялась в том, что было доступно всем. Однако в первые годы я этого вовсе не ощущала. Внешних развлечений у нас мало, но зато такая радость быть дома!

А через 2—3 года мне станет в значительной степени безразличным, идти в кино или не идти; покупать или не покупать книги; выиграть или не выиграть по 3% займу

(все равно выигрыш ничем не будет отмечен: муж не любил ни получать, ни делать подарков).

Малая нагрузка в школе и максимальная рационализация в выполнении школьных обязанностей давали Александру Исаевичу возможность многими часами заниматься романом. Но прав он был или не прав — эта работа представлялась ему опасным, запрещенным, наказуемым занятием. По всем правилам конспирации он таился от людей и в ссылке, и в Торфопродукте, и в Рязани. Все его творчество в годы «тихого житья» тоже проходило в условиях строжайшей конспирации, как бы в добровольном подполье.

Если кто заходил к нам, что бывало очень редко, дверь в дальнюю комнату плотно затворялась и оттуда не доносилось ни звука.

На печатных экземплярах Александр Исаевич не ставил фамилии, а написанное от руки после перепечатки немедленно сжигал. То, что наша печь затапливалась из кухни, заставляло делать это поздно вечером, когда со-седи спали.

Понятно, что при такой скрытной жизни, у нас в Рязани не могло быть не только друзей, но даже приятелей. Александр на работе ни с кем не сблизился. У меня практически отпали почти все товарищеские связи. Позже сотрудница нашего института Кузнецова говорила, что всем казалось: Александр украл меня у них, увел от жизни, увел от всех, спрятал.

Весь тот год, начиная с лета 57-го и кончая весной 58-го, прошел у нас под флагом работы над «Шарашкой». Сначала, до середины января, вторая редакция, т. е. перечитывание и переписывание всего романа заново. Потом, по апрель включительно, еще одна внимательнейшая и придирчивейшая читка и, наконец, перепечатка на машинке.

Читала и я «Круг» по мере того, как он переписывался. В виде исключения читала отдельные главы первой редакции. Например, «Улыбку Будды» и те, в которых фигурировала Надя — жена Сергея Кержина (первоначальные имя и фамилия Глеба Нержина). Эти главы во многом родились из моих дневников. Теперь же мы вместе обсуждали их.

Сейчас я отчетливо вижу, что у меня было слишком уж некритическое отношение ко всему, что писал муж,

в частности к «стромынкинским» главам. В том, что писатель сделал такими малоинтересными моих подруг по «Стромынке», вполне возможно, виновата и скудность моих дневников и неумение передать в рассказах атмосферу нашей жизни, сложность и драматичность судеб, живших рядом со мной девушек-аспиранток.

Я считала, что Солженицын куда лучше меня понимает, чувствует, представляет, как нужно писать. Сейчас мне ясно, что Александр Исаевич, с его запрограммированной тенденцией признавать интересными людьми только «зэков» и отчасти их жен, просто оказался глух к переживаниям, выходившим за рамки его интересов.

Я храню письмо моей подруги, которая познакомилась с «Кругом» в 1964 году и без обиняков высказала свое мнение. Она имела на это право, ибо в первой редакции была одним из активных действующих лиц «стромынкинских глав».

«...Получилось так,— писала она нам с мужем,— что жизнь на «воле» показана очень односторонне и предвзято, и особенно это относится к изображению женщин в романе».

Она вспоминает о других женщинах. Об Ольге Чайковской, получившей в один и тот же день две «похоронные»: на мужа и на единственного брата. Но на руках оставался сын, которого нужно было вырастить, и это дало ей силы все перенести...

«Так почему же в романе фокус так смещен? Почему страдающими и благородными показаны только жены зэков, а остальные женщины выглядят так неприглядно? У каждой было свое горе, свое страдание, которое не всегда и не всем показывалось. Так за что обижать женщин? Нельзя смотреть на мир только сквозь призму собственных страданий (а в главах о Стромынке все показано сквозь призму страданий Нади), и постараться понять, что и другие страдают».

Она вспоминает поэтические образы русских женщин у Пушкина, у Толстого. Как можно женщин, на долю которых выпала такая трудная жизнь, изображать так плоско и пошло!

Солженицын нашел простой «выход». Он исключил автора письма из числа действующих лиц романа. В той «Оленьке», в которую превратилась описанная раньше «Санечка», уже не было решительно ничего общего

с умной, талантливой и способной на глубокие переживания девушкой. Но описания «418-й комнаты», увы, стали от того еще более плоскими.

Теперь, встречаясь с теми, с которыми когда-то делила кров на Стромынке, мы много говорим о старых временах. Вспоминаем, как интересно нам было вместе, когда, наработавшись днем порознь, мы собирались вечером. Среди нас были филологи, историк, политэконом, археолог, химики. Наша комната превращалась по вечерам во «второй университет».

Нас ничто не оставляло равнодушными. Спорили о том, что происходит на биологическом факультете, что такое генетика? Наука или лженаука? Или о том, как посмеивались и критиковали моего профессора Кобозева за опыты над букашками, а они были на самом деле одним из подступов к кибернетике, которая в те времена тоже считалась лженаукой. В оценках всего происходившего мы были довольно сдержанны — такова была дань эпохе...

Мы настолько были в курсе дел друг друга, что наша «политэкономка» вступила в трамвае в спор с химиками, нападавшими на «теорию ансамблей» моего мэтра.

У каждой из нас были свои горести и свои заботы. Если я в какой-то степени жила для Сани, то и другим было о ком заботиться... У политэконома Зины предметом постоянных волнений была ее младшая очаровательная сестра Машенька, а потом и появившийся на свет племянник Жорик. Аспирантка-филолог Кнарник, влюбленная в своего Тургенева, пеклась о стариках-родителях. Женя-археолог жалась как только могла в еду, в одежду, чтобы сэкономить и высылать деньги своему талантливому брату-художнику, учившемуся в Ленинградской Академии художеств. Только Шуручке Поповой не о ком было заботиться, и это было самое большое горе. За один военный год она потеряла отца, мать и единственного брата. Учеба спасала ей жизнь...

Да и сама Надя Нержина, родившаяся из моих дневников и воспоминаний о том, какой я бывала на свиданиях, довольно далека от Наташи Решетовской. Мытарства с диссертацией отнюдь не приводили ее в отчаяние, как это описано в романе. Надя — нытик. Наташа Решетовская там, где можно было действовать, не приходила в уныние даже от самого плохого! Чтоб ускорить завер-

шение диссертации, она делала все, что могла, знала, что рано или поздно всем мытарствам придет конец, и относилась к ним даже с некоторым юмором...

Девушки были и душевно лучше, не только богаче интеллектом, чем это описано в «Круге». Они, если и не одобряли меня в чем-то (например, в чрезмерном увлечении музыкой или шахматами), то это не было и не могло быть предметом злословия за моей спиной. Об этом говорилось только открыто. Если бы они и догадались, что муж у меня жив, но не все благополучно, то не злословили бы, а посочувствовали...

\* \* \*

Подошел Новый год. Снова втроем, как и год назад. При свете фотоламп, принесенных для этого случая мужем из школы, где у него была уже вполне налаженная фотолаборатория, было сделано много снимков. Среди них очень удачна фотография моей мамы, сидящей в кресле и разбирающей новогоднюю почту.

Провожая старый год, муж любил подводить его итоги и строить планы.

Зреют планы и на лето. В первую очередь мой муж мечтает о поездке в Ленинград, который влечет его с давних пор.

Из библиотеки приносится довольно старый путеводитель по Ленинграду. Александр будет составлять по нему целую большую историко-художественную картотеку.

Меня очень заинтересовала архитектура Ленинграда еще в поездку туда с художественной самодеятельностью Московского университета в 49-м году. А потому решено, что я тоже буду составлять картотеку — архитектурную.

Первым гостем в новом году был Дмитрий Панин.

К этому времени он фактически расстался с женой и сыном, ушел жить к сестре.

Нам это уже было известно. Таков был эпилог многолетнего ожидания мужа красивой, самоотверженной женщиной!

Грешный муж вернулся к безгрешной жене. Но он зато стал верующим. И она и сын тоже должны теперь ими стать! Уговоры, убеждения, требования, ультиматумы... Официально брак их не возобновлялся. Зачем?

Вдруг с ним опять что-нибудь случится? И ей снова отвечать?..

Тогда Дмитрий Михайлович был православным. Потом он стал католиком. Потом женился на еврейке, чтобы уехать в Израиль, а оказался в Париже. Своей истинной жене, которая чаяла разделить с ним старость и с которой он в летние месяцы жил вместе на дачном своем участке, он оставил «успокоительное письмо», что любил ее больше всех прочих бывших у него женщин и что он хочет закончить свою жизнь в монастыре...

Дмитрий Михайлович читал «Шарашку». В основном он принимал ее безоговорочно. И муж советовался с ним особенно в связи со спорами Сологодина с Рубиным (тогда Левиным). Вместе изобретали темы этих споров. Обсуждали написанное.

Весной я побывала в Москве на научной конференции по катализу. Проводили ее «кобозевцы» в Московском университете.

Доклады вызвали весьма оживленные, с взаимным задиранием, прения. Один из докладов делал сам Кобозев. Как всегда (только редко приходилось его слушать!) — логично, четко, иногда остро и остроумно, находя удивительно точные слова.

Конференция длилась несколько дней. Всю ее я просидела рядышком с Тamarой Поспеловой, с которой почти не разлучалась те дни, когда мы с ней были единственными женщинами в лаборатории профессора Кобозева.

К удивлению своему убедилась, что я в этом научном мире не забыта. На мои работы, в частности, на открытые мною так называемые «вторичные ансамбли» делались ссылки в докладах. Сослался и сам шеф. А когда посетила новое просторное помещение кобозевской лаборатории в отдельном корпусе на Ленинских горах, то на стенде, среди других таких же, увидела и титульный лист своей диссертации...

Все могло бы быть по-другому. Но как бы сложилась моя личная жизнь? Разве я имею право быть чем-то недовольной?!

\* \* \*

Болезнь Александра не давала себя знать, но требовала постоянного внимания. Около двух недель в ту весну он пролежал в больнице, где его лечили химиотера-



пией. Полагалось бы пролежать подольше, но муж настоял на выписке и продолжал лечиться амбулаторно. Чувствовал он при этом себя неплохо, а потому, почти не переставая, работал.

Шло усиленное печатанье «Шарашки».

За время лечения муж прибавил в весе около 3 кг, от чего пришел в ужас. Зато опухоль как будто рассосалась.

После курса лечения сарколизином муж проникся оптимизмом и решил считать себя здоровым. А чтобы избавиться от излишней полноты, да и почувствовать себя снова молодым, муж идет навстречу моему желанию купить велосипеды.

С каким опозданием наверстывалась моя жизнь! Ведь о велосипеде я мечтала еще со школьной скамьи, но он был в ту пору недоступен.

И вот у меня — прелестный зелененький дамский велосипед Львовского завода! У мужа — дорожный, тяжеловатый на ходу. Но я от этого выигрываю. Когда натренируюсь, то не буду отставать от него, разве что при встречном ветре, да на крутых подъемах... Не то что пешком! Тут я всегда пасовала перед своим «скороходом»...

Начались наши первые велосипедные вылазки «на природу»: сначала к Оке, потом до Полян, а потом и в Солотчу, до которой было 20 км и которая кажется мужу «чудным местом».

Большая картотека по улицам и достопримечательностям Ленинграда уже составлена. Карточки рассортированы по определенным маршрутам. Имея в руках отпечатанную картотеку, Александр Исаевич вполне может работать гидом по Ленинграду. В Рязань к нему уже идет выписанная нами «Ленинградская правда». Читая ее, мы как бы входили в жизнь города.

И вот наступает этот счастливый миг, когда, собравшись по предварительно составленному подробнейшему списку необходимой одежды, канцелярских и фотопринадлежностей, дорожных вещей и пр., мы рано утром 29 июня покидаем Рязань...

В Ленинград мы приехали ослепительным утром. Весна там запоздала: на улицах и в скверах — раскидистые кусты цветущей сирени, давно отцветшей у нас.

Вечером, одевшись поторжественнее, вышли гулять. Пройдя по Невскому в сторону, противоположную Дворцовой площади, повернули налево и оказались у здания

бывшего Благородного Собрания — ныне Филармонии. «Нет ли у вас лишнего билетика?» — обратились к нам... Оказалось, заключительный концерт американского дирижера Стоковского. Тогда и мы в свою очередь стали задавать подходящим тот же вопрос и прорвались-таки на верхний ярус, где можно было не только сидеть на своих, не ахти каких местах, но и свободно прогуливаться, не глядя на эстраду, а просто отдаваясь поразительно слитному звучанию оркестра.

После концерта мы вышли на светлые без фонарей улицы. Хотя был уже 12-й час, казалось, вечер только начинался: повсюду продавались ландыши, мороженое, газированная вода...

До четырех утра бродили мы по набережным Невы, делая снимки и просто любуясь открывшейся перед нашими глазами панорамой.

Но, конечно, Ленинград — это прежде всего театры. «Бег» Булгакова в Александринке, «Летучий голландец», «Жизель».

Любопытно, что самое большое впечатление было от французской пьески Жери «Шестой этаж» — ее ставили гастролеры-рижане.

«Сюжет — элементарный, — пишет Саня Зубовым, — «он» обманул «ее» и не женился; но тут-то и убеждаешься, что в искусстве не то главное, что сказано, а как».

К этой мысли Александр Исаевич на протяжении своей жизни не раз возвращается. И все же до конца не убежден в своей правоте.

«— Но слушайте, искусство — это не что, а как», — говорит сценарист Цезарь Маркович в «Одном дне Ивана Денисовича».

«— Нет уж, к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!» — отвечает ему заключенный X-123.

Продолжения спора автор не приводит, молчаливо согласившись, тем самым, с X-123, за которым осталось последнее слово.

Может быть, дело все в том, что важно и что и как? Ведь «элементарный» сюжет «Шестого этажа» — вечен!.. Как вечен он и в жизни, что Александр Исаевич подтвердит на собственном примере!..

Переполненные впечатлениями от путешествия, от встреч с друзьями, со множеством нащелканных фото-

пленок, обремененные обновками, 11 августа мы приехали в Рязань, точно уложившись в намеченный график.

— Хорошо путешествовать, а доменька еще лучше! — проговорил мой муж, разбирая вещи и настраиваясь на свои обычные дела.

\* \* \*

В период «тихого житья» мы отсчитывали время не по календарным, а по учебным годам.

Осень, зиму, весну у мужа была школа, у меня — институт. И хотя преподавание не было главным к этому времени даже у меня, школа и институт, наши учебные расписания, подготовка к занятиям — задавали жизни определенный ритм.

Каждый год Солженицын вел астрономию в 10-х или 11-х классах. А по физике он принял в начале 8-й класс и продолжал вести его дальше.

От математики Александр Исаевич отказывается. (Проверка тетрадей отнимает много времени). По той же причине, чтобы не расточать время, он отклоняет предложение быть завучем.

Учебная нагрузка Александра Исаевича была различной, но не превышала 18 часов в неделю.

Школа похищала у Солженицына какую-то часть времени, но была ему во всех смыслах полезна. Она вносила и умственную, и физическую разрядку в его векторно-направленную жизнь.

Александр Исаевич проводил в школе ровно столько времени, сколько было необходимо. Без опозданий, но и без задержек. Но школа не захватывает преподавателя Солженицына всецело.

Отразился ли как-нибудь опыт учительства в творчестве Александра Исаевича? К сожалению, нет.

А ведь у него была мысль написать о школе.

Была одна ночь, когда мой муж, сидя в отделенном нами для фотографии уголке комнаты, при слабом свете шкалы приемника судорожно делал наброски для «Одного дня одного учителя».

Вместо того 18 мая 1959 года он воскрешает в памяти свой давний и долго вынашиваемый замысел и начинает писать повесть, которую читатели узнали позднее под названием «Один день Ивана Денисовича».

Писалась повесть одним дыханием. Меньше, чем за три месяца. Вклинившийся летний отдых разбил работу на два срока. До конца июня, а затем сентябрь и часть октября. Закончена она была 11 октября того же года.

Я читала повесть по мере того, как она переписывалась вторично, и должна сознаться, что медленно развивающееся действие «Одного дня», описываемое как бы бесстрастно, поначалу казалось мне скучноватым...

Иван Денисович — образ отнюдь не случайный в творчестве Солженицына. Если бы в центре повести стоял отправленный в Экибастуз «с шарашки» Нержин или Цезарь или кавторанг, то сколько бы ушло места в повести на какие-то связи и ассоциации с прошлым, на попытки анализа происшедшего с ним одним и происходящего со всеми, на размышления о будущем.

Автора повести не тяготили заботы о построении сюжетной линии, о композиции произведения, о сложном внутреннем мире героя, о том, чем «обрастает» каждый интеллигентный человек и без чего невозможен показ его жизни.

Солженицын отдавал себе ясный отчет в том, что без понимания простого человека, особенно человека деревни, в России стать настоящим писателем невозможно.

Такова у нас литературная традиция еще со времен Пушкина.

Хотя образ Ивана Денисовича — образ собирательный, от кого-то нужно было оттолкнуться! Для такого вот первоначального толчка и послужил Солженицыну уже немолодой повар его батареи — Иван Шухов. Он до какой-то степени увидел его, этого реального Ивана Шухова, в Экибастузском лагере.

Много споров вызвал язык повести. Но «собственно авторского» языка в повести почти что и нет! Это язык литературного Ивана Денисовича Шухова, слитый с языком автора.

В начале лета работа над «Иваном Денисовичем» была прервана. Мы получили отпуск, перевезли из Ростова тетушек и отправились в Крым. В Черноморском, где жили Зубовы, самое жаркое время дня, в перерыве между утренними и вечерними прогулками к морю, мы

проводили дома: в снятой нами комнатенке или во дворике в тени деревьев. Тут-то Александр Исаевич начал писать рассказ, который он назвал «Не стоит седо без праведника», позже получивший название «Матренин двор».

Я знала, что Александр Исаевич собирался написать о Матрене Васильевне, своей квартирной хозяйке во Владимирской области, и ждала этого с большим нетерпением.

Я успела оценить и полюбить Матрену Васильевну, очень переживала ее трагическую гибель.

Однако рассказ этот в Крыму закончен не был. Муж спросил меня, понимаю ли я, почему он не может писать дальше, и объяснил, что ему кажется, он уже исчерпал образ Матрены и ему больше нечего о ней сказать, а сюжет не досказан. Рассказ этот был закончен только осенью следующего 60-го года.

Желание поставить целый ряд этических вопросов, касающихся, как считал Александр Исаевич, любого человека, любого общества, любого государства, толкнуло его написать пьесу «Свеча на ветру», или «Свет, который в тебе». Образ «свечечки» символизировал образ души человеческой, которую человек не должен загасить и которую XX век должен бережно передать эстафетой веку XXI.

Однако, так высоко замысленная, пьеса не удалась в драматургическом плане. Начав работу над пьесой в конце 60-го года, Солженицын занимался ею до 64-го года включительно, сделал несколько редакций, но в конце концов понял, что пьеса не удалась.

Мне же эта пьеса нравилась. Неубедительным и лишним я считала только желание Алекса остановить развитие науки.

Теперь я понимаю, что для меня немалое значение имело то обстоятельство, что за многими персонажами пьесы вставляли живые и близкие мне люди.

Так, Маврикий — это, в значительной степени, мой дядя В. К. Туркин. Тут и многие детали его биографии, и черты характера, и трагическая коллизия — разлука с дочерью, которую он столько лет не знал. Дочь Маврикия Альда — во многом моя двоюродная сестра Вероника.

Создавая образ Филиппа, Солженицын видел Николая Виткевича. Но образ был страшно гиперболизирован, наделян стократным честолюбием и стократными успехами в жизни. Он чуть ли не корифей науки, в то время как Виткевич в жизни был в ту пору лишь новоиспеченным кандидатом химических наук.

И, наконец, Алекс — во многом мой муж.

Генерал, Тербольт, Синбар и все остальное «ученое» окружение Филиппа придуманы.

Имена, фамилии — на неопределенный иностранный лад, чтобы дать почувствовать, что действие происходит в середине XX века где-то «на нашей планете». Из-за того же в пьесе «нейтральный», почти плоский язык, на чем автор потерял очень много.

Н. П. Акимов, руководитель ленинградского Театра комедии, которого Солженицын попросил вынести решение, «достойна ли эта пьеса сцены, или печати, или пьески», ответил: «Пьеса Ваша мне понравилась». Но... посоветовал обратиться к вахтанговцам...

Гораздо откровеннее директоров театров и режиссеров высказался один наш приятель: «Читал с интересом, но второй раз не читается. И дело совсем не в женских образах, а в странном драматургическом мышлении автора».

Разрешения житейского конфликта в пьесе, действительно, не происходит. Герои настолько абстрагированы от живой жизни, что и рассуждения их потому, вероятно, глубоко и не задевают читателей, а значит, и не задела бы зрителей. Что касается, главным образом, Алекса, то он запрограммирован для выступления в качестве «рупора авторских идей». К тому же, если у Филиппа есть какая-то житейская программа, пусть даже неправильная, то у его антипода — «положительного» героя Алекса есть только негативная житейская программа: отрицаю это, не хочу того! Ему нужны чисто абстрактные вещи. Когда Алекс берется за «кибернетический социализм», то ждешь, что и в этом он быстро разочаруется.

Сейчас следует добавить, что эти абстрактные идеи совести и добра оказались и у самого автора довольно нежизнестойкими.

Придет время, и он допустит, что совесть есть «чувство факультативное», что, оказывается, можно «и нарушить обещание и использовать во вред доверчивость!»

\* \* \*

Чтобы писать, чтобы написать все, что задумано, а может, и сверх того,— нужно во что бы то ни стало быть здоровым! Нужно хорошее самочувствие. В здоровом теле здоровый дух!

Обычные занятия утренней гимнастикой, конечно, не устраивали Александра. Он требовал и здесь чего-то отличного от того, чем занимаются все или многие. И вдруг пришли... йоги!

Увлечение йоговством пришло к нам от Панина, которым тот просто упивался.

Солженицын отдавал должное тому, что Панин уже делает 900 полных дыханий в сутки, многие часы ходит на лыжах только «на полных дыханиях», каждый день после работы продолжительно стоит на голове, считая удары метронома, но в результате врачи констатировали «предынфарктное состояние и обещали II группу инвалидности».

До инфаркта дело не дошло, но однажды после длительного «йоговского» голодания Панин все-таки угодил в больницу. Как питается он сейчас в Париже и стоит ли по вечерам на голове,— не ведаю...

Что же касается Александра, то хотя и с меньшим энтузиазмом, но свой комплекс «йоговских» упражнений он по утрам, вероятно, и сейчас продолжает.

\* \* \*

С осени 1959 года мы жили уже без соседей. Летом мы перевезли из Ростова тетю Нину и тетю Маню. Тетушки в Ростове жили одни. А ведь им было уже за 70! Все трудней становилось вести хозяйство, обеспечивать себя самым необходимым. А тетя Нина после Экибастуза и Кок-Терекской ссылки стала и для Сани совсем родной.

Поездка за тетушками осталась у нас в памяти не только благодаря сборам, хлопотам, контейнерам, старинной мебели, которую не пропускали двери, и она опускалась во двор через окна и соседский балкон. У нас произошло много радостных и душевных встреч. Самая главная — с Виткевичами: уже во множественном числе!

У Николая подходила к концу работа над диссертацией. Параллельно он успевал участвовать в жарких научных спорах с «авторитетами».

Правда, в эти дни ему пришлось проявлять себя в другом качестве: самоотверженного, безотказного грузчика.

Встречаясь с Николаем и его женой Эгдой, Эмилем Мазиным, мы чувствовали себя совсем молодыми, будто бы не было ни войны, ни разлук, будто бы мы — еще студенты. Не мешало даже то, что студенткой была уже дочка Мазиных Наташа, та самая, которую я видела крохоткой на пристани в Баку во время нашего с мамой бегства от немцев в 1942 году.

Отныне мы владельцы всей квартиры. Будем с мужем жить в комнате, которая раньше принадлежала соседям: она вдвое больше той, которую мы занимали прежде.

Моя мама по-прежнему — хранительница семейного очага. Тети стали ее помощницами. На мне хозяйственных дел мало. Но уж обязательно каждую осень солю, мариную. Закупоренные банки с огурцами, помидорами, даже сливами не переводились зимой в нашем подполе. А в буфете — запас свеженаваренного мамой варенья, особенным любителем которого был муж. На муже — заготовка на зиму картофеля, овощей, дров, их пилка и колка. Сначала его напарником по пилке дров был дворник моего института, Павел Алексеевич, а потом стала я. Почему не пробовала раньше? Очень даже приятно и не так уж трудно! Любим считать с мужем, сколько движений туда-сюда требуют особенно толстые бревна...

Еще мой муж — наш домашний врач, как мы все его полушутя-полусерьезно называем. Пишу как-то Зубовым:

«По предписанию Сани (наш всеми признанный домашний врач!) мы обе (я и тетя Нина) для поднятия сил пьем левзею — экстракт какой-то травы».

От головных болей муж одно время лечил меня модным «стимулином», капая его мне по каплям на темя.

Чтобы быть еще более уверенным в себе, весной 1960 года Александр Исаевич купил «Справочник практического врача».

И здесь, как во многом, как во всем, у Солженицына — желание независимости! Рационализация! Проявление самостоятельности! Все хочу и должен делать сам! Ни с кем не быть связанным! Ни от кого не зависеть!



Не обращаться ни в какую поликлинику! Быть, наконец, до конца уверенным в диагнозе! Раз его ставишь сам — тут уж уверен!..

И во всех прочих случаях Александр Исаевич предпочитает ни от кого не зависеть! Ну, а как быть, если жена не всегда соглашается ограничивать себя в покупках? Девиз «Надо не много зарабатывать, а мало тратить», прямо скажем, ей не всегда бывает по душе... Приходится иногда сдаваться. «Наташа «развратила» меня в том смысле, что притупила мою бдительность к копейкам и даже рублям», — жалуется муж Зубовым.

А уж когда жена решила отметить свой дополнительный заработок от чтения лекций в медицинском институте покупкой большого ковра, то Александр приуныл и объявил, что приобретение вещей — «это бесконечный и ненасыщающий процесс, он приводит только к подавлению духа».

Впрочем, все это не так уж важно... Мы живем с мужем душа в душу. Поздравляя Зубовых с очередной годовщиной их брака, Александр писал в 1960 году, что только старея, мы начинаем понимать этот новый вкус выдержанного брачного напитка — «не беззаботного шампанского юности, а вызоренного янтарного напитка, сока теплого сердца и ясного разума».

Есть тут, правда, немножко и рисовки. Ведь мы еще вовсе не чувствуем себя пожилыми, особенно когда садимся на свои велики или становимся на лыжи...

\* \* \*

Надо было пополнить пробелы в знании мировой литературы. Александр Исаевич раздобыл «Литературную энциклопедию». Том за томом очень внимательно читал биографии писателей, разбор их произведений. Все самое главное, что относилось к данному писателю, записывалось на отдельном, чаще всего тетрадном листе, который потом помещался в специальную папку.

Еще в ссылке Александр завел музыкальную (в общей тетради) и литературную (в тетрадных папках) коллекции. Записи на отдельных листах, посвященные тому или другому писателю, складывались им в алфавитном порядке в папки «Русская литература», «Совет-

ская литература», «Западная литература». Теперь эти папки стали все более распухать. Работа оказалась чрезвычайно трудоемкой. Но еще больше времени понадобилось бы для прочтения всех тех произведений, о которых Александр Исаевич все же смог составить хотя бы общее представление.

Александр Исаевич стремился читать лишь то, что считалось литературными образцами.

Переехав в Рязань, муж дал оценку всем книгам моей, тогда весьма скромной, библиотеки. В результате был составлен план «Исчерпания библиотеки».

В 1-ю очередь «Исчерпания» попали, например, «Былое и думы» (перечитывались!) Герцена, «Записки из мертвого дома» Достоевского, Пришвин, Грин, Хемингуэй, Олдингтон.

Во 2-ю — «Анна Каренина» (перечитывалась!), Паустовский, «Идиот» Достоевского.

В 3-ю — «Толстой в воспоминаниях современников», Монтескье, Вольтер, Свифт, Руссо и пр.

При чтении отдельных рассказов и особенно стихов Александр Исаевич любил ставить им оценки, начиная от точки. Потом шел плюс и, наконец, восклицательные знаки вплоть до трех, которых, например, удостоилось стихотворение «Silentium» Тютчева.

Читая иностранную литературу, Александр Исаевич очень сожалел, что не мог оценить в полной мере того, что было для него так важно — язык писателя! Недаром тот единственный писатель, которому он как-то позавидовал и сказал мне об этом, был русский. Это был Владимир Набоков, оторванный от родины. Солженицын говорил, что ему нравятся его находчивость в метафорах, виртуозность в обращении с языком.

С момента переселения Александра в Рязань на покупку мною книг был наложен запрет. Чтобы покупать книгу, совершенно недостаточно, чтобы она нравилась или чтобы просто хотелось ее прочесть. Зачем?.. Такую книгу можно взять в библиотеке. И муж действительно записывается и в городскую, и в областную библиотеки, и в библиотеку Дома офицеров.

Дома же надо иметь то, что необходимо, то, что может понадобиться и сегодня, и завтра, и через месяц, и через пару лет... Прежде всего, следовательно, нужно пополнить собрания классиков! И мы или купили сразу,

или подписались на целый ряд изданий. Среди них были собрания сочинений Чехова, Куприна, Паустовского, Пришвина, Анатоля Франса. (Впрочем, во Франсе Александр Исаевич быстро разочаровался.)

Мой муж читал каждую книгу долго. Львиная доля его свободного времени отдавалась творчеству, а кроме того, он считал совершенно необходимым регулярно, в идеале каждодневно, заниматься Далем. Он говорил, что ему нужно создать в себе внутреннюю атмосферу русского языка, проникнуться его духом.

Мне кажется, что в стремлении Александра Исаевича к точности слова много от математика.

Математичность, может быть, даже педантичность — неотделимые компоненты его творчества!

Он помечал на полях «новые слова» и поговорки и не позволял себе превышать некоего установленного им лимита на страницу.

Даже в подборе имен и фамилий был полный порядок, никакого хаоса. Все очень продуманно и организовано, все фиксировалось, чтобы имена не повторялись слишком часто.

Много фамилий приносила ему я из института. Некоторые брались мужем на заметку, а позже иногда выплывали в его произведениях. Так случилось, например, с фамилией «Шкуропатенко», которую получил один из эзков в «Иване Денисовиче». Несколько лет спустя я узнала, какое волнение это невольно вызвало в семье моего бывшего студента, дед которого в свое время тоже пострадал.

Как-то одна моя сотрудница дала мне прочесть редкостную книгу, выпущенную в 1904 г. к столетию рязанской мужской гимназии. Из длинного перечня выпускников Александр Исаевич выписал заинтересовавшие его фамилии. Полагаю, что фамилии учащихся бывшей мужской рязанской гимназии будут фигурировать на страницах будущих романов Солженицына. Варсонофьев, Ободовский уже действуют в «Августе четырнадцатого». А немецкую фамилию Гангарт получила в «Раковом корпусе» доктор Вера Корнильевна — Вега. Любопытно, что, изучая списки выпускников, Александр не обратил внимания на страницу из классного журнала 1805 года, на которой значился ученик 2 класса Яков Солженицын. Поскольку этому второкласснику было уже 14 лет, не

приходится удивляться, что его фамилия отсутствовала в числе выпускников.

К далевскому словарю, уже в Рязани, у Александра Исаевича прибавился еще словарь пословиц, составленный тем же Далем. И тут — чтение, разметка, выписывание, переклассификация. Часть этой работы мы с ним делали вместе. После соответствующей разметки, я перепечатывала пословицы на машинке. В будущем мой муж мечтал иметь дома вазу, наполненную карточками с нанесенными на них пословицами, лучшими из лучших, чтобы их наугад вынимать, перебирать...

Что касается литературных вкусов и оценок, то у Александра Исаевича они постоянно претерпевали очень большие изменения. Студент Солженицын был влюблен в Джека Лондона. Солженицын-фронтвик величайшим писателем почитал Горького. Позже, надолго — Толстого.

Отношение Солженицына к писателям редко бывает устойчивым. В одних он разочаровывается, другими, напротив, вдруг неожиданно увлекается.

Мне в голову невольно приходит параллель со склонностью Александра Исаевича составлять мнение о человеке при первом же знакомстве. Это первое впечатление играло всегда большую роль в его жизни. Это — как бы стремление возможно скорее сделать вывод! Напрячь все силы ума, всю свою наблюдательность, но чтобы вывод был сделан незамедлительно! Может быть, это тоже из-за бережения времени? В жизни (во всем остальном, кроме писательства) только бы скорей! И он подчас из единичного факта готов делать уже обобщение! Если подойти с точки зрения диалектики, то он часто опускает в жизни то звено, которое должно следовать в процессе познания за «единичным» — так называемое «особенное». От единичного через особенное ко всеобщему! А у Солженицына бывает и так: от единичного ко всеобщему! А бывает, что даже дезинформацию готов принять за информацию, только бы не тратить времени на то, чтоб проверять!.. В нашем с ним конфликте было много такого...

Напротив, если время затрачено, — это должно быть оправдано! Письмо написано — нельзя не послать! Никогда не должно быть времени, потраченного зря! А какие будут последствия — это дело третьестепенное.

Перестали Солженицыну нравиться Франс, Куприн, Паустовский.

Он посчитал вдруг Куприна в основе писателем «слабым и мелкотемным». А предвидя возражения, даже попытался объяснить литературные явления математическим образом: «Гранатовый браслет» и «Суламифь», отчасти «Поединок» — исключения, просто «по теории вероятности среди такого множества попыток должны были быть и удачи».

При своей склонности к преувеличениям Александр Исаевич не замечает даже, что по этой «теории» у любого графомана могут быть шедевры.

Постепенно муж остывает к Паустовскому, которого очень любил. И даже начинает обвинять его в том, что он «не нашел своей темы — в эпоху, в которую н е л ь з я было не найти своей темы».

Он неодобрительно отнесся к тому, что Паустовский «закатился в автобиоповесть, грозящую стать двумя томами из семи».

Масло в огонь подлило еще то, что в «Новом мире» начали печататься мемуары Ильи Эренбурга, которые на первых порах Александру Исаевичу не понравились. Вообще он считает, что «автобиоповесть» есть, с одной стороны, «продукт чрезмерной любви автора к себе», а с другой — следствие его беспомощности — «неспособности подняться до художественного обобщения виденного».

Солженицын не против мемуаров вообще, он лишь против мемуаров писательских! Принципиально против!

Обычно считают, что первой публикацией Солженицына была напечатанная «Новым миром» повесть «Один день Ивана Денисовича». Отнюдь нет...

В марте месяце 1959 года за три с половиной года до «Одного дня Ивана Денисовича», в рязанской областной газете «Приокская правда» появилась заметка «Почтовые курьезы», автором которой был Солженицын. Речь шла в ней о задержке доставкой письма.

Через год Солженицыным написано еще одно произведение подобного жанра, с жалобой на продажу двух железнодорожных билетов на одно и то же место.

Оно было послано в газету «Гудок». Но газета почему-то от публикации воздержалась...

В ноябре 60-го года Александр Исаевич посылает

в «Литгазету» свою статью, озаглавленную «Эпидемия автобиографий». Приведя весьма, как ему казалось, веские аргументы, Солженицын спрашивает: «Писателю, способному творить, зачем писать простую автобиографию. О тех, кто будет достоин,— напишут современники, напишут литературоведы». Так «не пора ли хоть редакциям журналов остановить эту эпидемию писательских автобиографий?» — взывал Александр Исаевич.

Подпись была: А. Солженицын, преподаватель.

А еще ниже была сделана приписка:

«Я хотел бы не получить любезного извинения, что «к сожалению, редакция не располагает местом для напечатания».

Если я прав — прошу поместить. Если я не прав — прошу возразить».

Ответ («бездарный, бледный») из «Литературной газеты» пришел через 11 дней. Конечно, он не удовлетворил Солженицына.

Итак, «Литературной газетой» Солженицын понят не был. Не понял его и Паустовский, которому он послал копию своей статьи «Эпидемия автобиографий».

Ответа вообще не последовало.

Александр Исаевич недоумевал. Ведь он «высоко похвалил его 1-ю часть», которая сделана как бы в виде «цепи непринужденных новелл»...

Что до мемуаров Эренбурга, то сначала Александр Исаевич высказывался о них очень резко: обвинял его в том, что он, мол, спорит с мертвецами и доказывает живым, будто он — честный, что он — гений, что он — очень умен. Но продолжение воспоминаний понарилось, и Солженицын писал друзьям, что Эренбург вспоминает «по-деловому» и с попыткой глубоко осмыслить гражданскую войну. «Есть глубокие мысли, которые я нигде прежде не встречал. Интересны и многие портреты».

Итак, гнев сменен на милость, даже более того! А причина элементарна. Тема гражданской войны всегда занимала Солженицына! А вот Ивашеву-Мусатову, вероятно, интересней было бы прочесть у Эренбурга «О картинах, им не виданных», которые Солженицына интересуют так же мало, как и мнение Эренбурга о них. Литературное произведение оценивается с точки зрения своих интересов, своей настроенности, направленности, векторности. А от строжайшей векторности нетрудно

сорваться уже и в нетерпимость. Во властное желание обязательно навязать свое мнение другим! Свои литературные и житейские вкусы!

Гораздо позже, когда Солженицын стал известен, когда другим писателям было уже не безразлично его мнение, Г. Владимов прислал ему свою только что напечатанную вещь — роман «Три минуты молчания». Начал читать ее Александр Исаевич с интересом. Ему понравилось, что герой-морьяк расстается с морем. Но как только морьяк решил возвратиться на свой траулер, книга была отложена в сторону. Разве мало неразрешенных проблем на земле? Все писатели должны ориентироваться на критерии и вкусы Солженицына!

*«Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил четко разработанный приговор и любил навязывать его другим.»*

Он еще долго не успокаивается. Вернется к этой теме даже в рассказе «Для пользы дела», написанном весной 63-го года. Правда, маловероятным кажется, чтобы данная проблема так волновала студентов техникума!.. Но автора это не смутило: «Мальчик в очках, со смешным коротким ежиком нападает на «мемуары»! — «Каждый, кто лет пятьдесят прожил, обязательно печатает мемуары: как родился, как женился, это ж каждый дурак может написать!»

А сам Александр Исаевич разбрасывает частицы своего автобиографического по разным произведениям, сливаясь то с одним, то с другим из своих литературных героев, которые не просто он, а сплав из него и еще кого-то, иногда только воображаемого.

Больше всего Солженицын слит с Нержиным. Но мы находим его и в Немове («Олень и Шалашовка»), и в Шухове, и в Зотове («Случай на станции Кречетовка»), и в Алексее («Свеча на ветру»), и в Костоглодове («Раковый корпус»), в котором много и от знакомого нам Ильи Соломина; угадываем его и в Воротынцеве («Август четырнадцатого»). В последнем случае Солженицын как бы примысливает себя к совсем другой эпохе, совсем другим обстоятельствам. Он описывает себя в нем таким, каким сам был бы в таких условиях или, что довольно часто, каким хотел бы быть...

Чтобы закончить разговор о склонности Александра

Исаевича к крайним суждениям, приведу одну его мысль в пользу классики. Он говорит о том, что современные коренные вопросы — это все те же вечные вопросы, которые «только с каждым десятилетием меняют наряд». «Поэтому у Пушкина — в «Пророке», в «Анчаре», в «Брожу ли я...» — можно гораздо больше почерпнуть, чем, например, у Суркова или Евгения Евтушенко».

Как-то мы посмотрели 2-ю серию фильма «Иван Грозный» — «Боярский заговор», сделанный Эйзенштейном. Александр Исаевич его не одобрил. «Такая густота вывертов, фокусов, находок, приемов, новинок — так много искусства, что совсем уже не искусство, а черт знает что», — писал он Зубовым.

В том же 60-м году, в котором Солженицын напал на писателей, занявшихся писанием автобиографий, он ополчился и против кино. Правда, на этот раз статья не писалась и ничего не посылалось ни в журнал «Искусство кино», ни в какую-нибудь газету... Прочесть мрачные прогнозы о будущем кино привелось только Зубовым.

«...такое впечатление, что вся мировая кинематография идет на снижение... От средней книги получаешь больше удовольствия, чем от среднего фильма».

В контексте письма это звучало тем менее убедительно, что начиналось оно с признания, что «Кроткую» мы пропустили, «Таманго», по слухам, — ерунда, а «Судья» — «ничего, но можно и не посмотреть».

А звучала эта оценка — «вся мировая кинематография идет на снижение» так, будто Солженицын вернулся по крайней мере с международного кинофестиваля.

Снова — нетерпеливая поспешность в выводах!..

Сомнения за судьбу кино Солженицына не оставляли и позже. «Боюсь, что будущее кинематографа, которое предвидел Л. Толстой, или уже миновало, или разменялось, не состоялось», — писал он.

\* \* \*

Увы, мой институт все больше становился для меня лишь средством заработка. Все, что бы я ни делала, я любила делать с увлечением. А там этого уже не было. Я как бы перегорела... В преподавании добралась до своего потолка, выше которого уже не могла прыгнуть,



а настоящую научную работу, которой занималась в Москве, в Рязани я наладить не сумела.

Гораздо большее удовольствие, чем чтение лекций, доставляла мне помощь мужу, занятия музыкой, английским языком, фотографией. Научилась шить и для себя и для мужа.

Что касается занятий музыкой, то мне очень не хватало руководства. Следуя советам мужа, который ставил мне себя в пример, я стараюсь двигаться вперед, штудирую книгу Г. Нейгауза «Искусство игры на фортепиано».

Сделала попытку устроиться в областную рязанскую филармонию, но без руководства потеряла форму. Какая филармония...

Муж подсмеивается надо мной за мои многообразные увлечения и порывы и считает, что все-таки я не нашла пока еще своего стержня в жизни. Действительно, мое индивидуальное еще просит какого-то выражения. Но стержень есть. Это — любовь к мужу. Наши отношения были таковы, что моя жизнь была полностью или почти полностью подчинена его интересам, его работе. Не случайно наши друзья Зубовы подшучивали надо мной, называя меня «чеховской душечкой».

А «душечка» была его идеалом! Он мне в свое время рассказывал, а потом как-то вспоминал об этом и в письме к Зубовым, что еще в Кок-Тереке сделал фотоотпечатки толстовского послесловия к «Душечке» и давал их читать или посылал «многим своим предполагаемым вестам». Причем, никого перспектива стать такой женщиной не привлекла. И «лишь Наташа в 1956 г. в Торфопродукте — прочтя, согласилась тотчас и полностью».

Это было вовсе не жертвой, а моим естественным состоянием. Именно потому так тяжела будет будущая разлука! И только тогда, слишком поздно, пойму, что нельзя в наш век ни для кого, даже ради самого выдающегося человека, становиться «чеховской душечкой»!

Разнообразие в нашу размеренную жизнь со строго заведенным распорядком вносили гости, хотя и очень редкие.

Приезжал к нам еще раз Николай Андреевич Потопов. К тому времени «Андреич» перебрался на строительство Воткинской ГЭС, на Каме, где был начальником управления электромонтажа.

Несколько раз к нам приезжал Д. М. Панин. Бывали и другие друзья.

Из моих подруг приезжала ко мне только Шура Попова, да один раз, проездом, была у нас Ирочка Арсеньева из Ростова, подруга детских лет.

Все приезды Шуры не обходились без нашего с ней музицирования. Однажды сделала запись на магнитную ленту нашего небольшого концерта: Шуман, Шуберт, Римский-Корсаков, Векерлен...

Все эти гости приезжали не неожиданно, были, так сказать, плановыми гостями.

Пожалуй, только один гость свалился к нам, как снег на голову! Хотя муж мой не виделся с неожиданным посетителем 15 лет, да и виделся всего только один раз, в поезде, узнал он его тотчас же. Уж больно характерна была наружность у знакомого нам Лени Власова.

Успевшие когда-то так быстро подружиться, Александр и Леонид оживленно проговорили весь вечер.

Власов часто бывал в командировках в Москве (жил он в Риге) и рад бы был нас навещать. Но уже во второй приезд почувствовал, что Александр с ним очень сдержан, и понял, что «просто так» к нам приезжать не годится... Дело ограничилось редкой перепиской.

Впрочем, что Власов! Запомнившееся, но все-таки мимолетное знакомство. Когда в Рязань переедет Николай Виткевич, я буду в восторге. Думалось: столько пережито им и Александром вместе. Муж познакомился с Николаем на десять лет раньше, чем со мной... Все время рядом: школа, университет, МИФЛИ... Они были вместе и на фронте, и в тюрьме... А Солженицын сразу же охладил мои пылкие эмоции.

— В гости ходить будут... Подарки делать надо...

Из родственников к нам изредка приезжала погостить тетя Женя, мамина сестра. А во второй половине января 61-го года приехала тетя моего мужа (жена его дядюшки по материнской линии — Романа) Ирина Ивановна Щербак.

Тетя Ира, «весьма поладившая со всеми нашими старушками», как констатировал мой муж, чувствовала себя у нас хорошо и легко.

Показали ей Рязань, свозили в нашу милую Солотчу. Эта поездка имела еще и деловую сторону. Не согласится ли Ирина Ивановна переехать к нам поближе? В де-

ревне Давыдово, рядом с Солотчей, продавался дом с садом.

Мы могли бы купить дом и поселить ее там. А сами будем постоянно ее навещать, обеспечивать всем необходимым, помогать по хозяйству, проводить там выходные дни, а то и жить неделями.

Тете Ире очень там нравится. А все-таки как-то боязно трогаться с привычного места. Да и как же быть с кошками?.. С ними ведь в поезд не посадят...

«Нет,— говорит она,— лучше стариков не трогать с насиженных мест!» Не решилась Ирина Ивановна на резкую перемену своей жизни. Предпочла одиночество в маленькой каморке... Одиночество, которое она делила со своими четвероногими.

После отъезда между тетей Ирой и моей мамой началась оживленная переписка. Сначала считалось естественным, что писала в основном моя мама, что все заботы с посылкой денег, посылок она взяла на себя. Но с годами начала расти обида на племянника — сам почти не пишет ей. Большое старческое воображение обвинило в этом нас с мамой. Это мы отгораживаем от нее Саню. Я не сдержалась и ответила ей. Напомнила, как она когда-то, пожалев кошек, предпочла их Сане.

Те, кого интересует Солженицын и его книги, знакомы с Ириной Щербак. Задолго до ноябрьского номера западногерманского журнала «Штерн» за 1971 год о ней написал сам Солженицын.

Ирина Щербак в молодости описана под своим собственным именем в «Августе четырнадцатого», а в старости — в «Свече на ветру» (тетя Христина). Из этих произведений известно о ее набожности.

Но Ирина Ивановна не просто верующая. Свои оригинальные взгляды она излагала в многочисленных письмах моей маме, посвященных, помимо прочего, опекаемым ею кошкам. В одном есть такие строки:

«Вот они истинные последователи Христа. А люди далеко стоят от учения Христа».

Постараемся понять старую женщину. Не могла она простить оскорбления, которое я нанесла «истинным последователям Христа». И не вызывает удивления ее «ценная информация» сотруднику «Штерна». Он, Дитер Штейнер, оказался, кстати, на уровне старушки. По-видимому, в данном случае версии тетушки больше устраи-

вали редакцию, чем истина. Между прочим, Ирина Щербак превратила меня, казачку, в «дочь еврейского торговца» и сделала меня из жены Солженицына его «любовницей» вовсе не из желания исказить факты. Просто — это самые ругательные слова в лексиконе тетушки!

Если кто и удивил меня, то это Александр Исаевич. В четырехчасовом интервью, на сей раз не жалея времени, он подробно комментировал вышеназванную статью. Только в мою защиту у него не нашлось ни единого слова. Правда, год спустя, он пообещал мне... «посмертную реабилитацию» (!).

\* \* \*

Еще некоторое разнообразие в нашу жизнь вносили нечастые поездки в Москву. Обычно они носили деловой характер: научные конференции у меня, командировки в Академию педагогических наук — у мужа. Изредка мы попадали в столицу вместе.

В мае 60-го года мне удалось побывать в Москве на выставке английских художников, на выставке Рериха-сына, посмотреть блестящую пьесу Уайльда «Веер леди Уиндермиер». А еще в тот раз, случайно проезжая на автобусе по Новослободской улице, довелось увидеть, как разрушали вселявшую ужас кирпичную стену Бутырской тюрьмы... Мне это показалось символом того, что страшное прошлое уходит навсегда...

Александр, попадая в Москву, всегда стремился познакомиться с Паниным, Копелевым, Ивашевым-Мусатовым... А как-то они все четверо собрались вместе на квартире сестры Дмитрия Михайловича 9 февраля 1959 года, в 14-ю годовщину ареста моего мужа.

Каждый из них до этого побывал на Художественной выставке в Манеже. Причем Александр чувствовал себя шокированным «неприличной выходкой польских художников», которые заняли все отведенное им помещение либо под сугубо абстрактную, либо под совершенно экспрессионистскую живопись. Ни одной картины в духе реализма! Тем не менее эти залы были полны народа, в них возникали стихийные споры, царило большое оживление.

Ивашев-Мусатов сказал, что все великие художники были «в какой-то мере абстракционистами», даже Ремб-

рандт и Рублев, которые уравнивали фигуру не фигурой же, а, например, поворотом; цвет — не цветом же, а, например, взглядом». И хотя нынешние абстракционисты «есть люди без сердца» и «создают не дом, а скелет дома и предлагают нам в нем жить», полное пренебрежение абстрактной живописью привело бы «к упадку орнаментального и декоративного искусства».

\* \* \*

Я рассказала о наших занятиях на протяжении учебного года: осенью, зимой, весной... А что было в промежутке? В летние месяцы?.. Тут уж в нашу размеренную жизнь врывалось нечто совершенно другое, новое, свежее, совсем другие впечатления!.. Мы вырывались на простор!

Наш отдых редко малоподвижен. Разве что две недели в 59-м году в Черноморском с утренними и вечерними купаниями. Больше мы все время в движении. Причем маршрут составлен заранее. А также строгий график, предусматривающий и пересадки, и остановки, и — попутно — встречи с друзьями. Для этого заранее изучено железнодорожное или пароходное расписание, посланы запросы, припасены карты и справочники, составлены карточки по особо достопримечательным местам.

Поезда подбрасывали нас в разных направлениях, радиусами от Москвы. То в Ленинград, а из него в Осташков или в Прибалтику, то в Крым или на Кавказ, то во Владимир, а то и в Иркутск... А там уже — более ближние поездки или походы по намеченным маршрутам.

Кроме Волги, Оки и Москвы-реки, на теплоходах мы плавали еще по Днепру, по Каме и Белой, по Енисею.

Самой удивительной рекой нам показался, конечно, Енисей.

А на Днепре больше всего покорила нас Канев — город, где похоронен поэт Шевченко. Канев живописно расположился на покрытых лесом холмах. Запомнились яркие многочисленные ночные огни пылающих металлургических печей Днепродзержинска. Очень величественно предстает со стороны Днепра древний Киев с обращенным к реке памятником святому Владимиру.

Много было совершено нами прогулок по прекрасному Киеву. Удалось проникнуть даже в Кирилловскую церковь, где много лет ведутся реставрационные работы, посмотреть интересные фрески Врубеля...

\* \* \*

2 ноября 59-го года Лев Зиновьевич Копелев приехал в Рязань прочесть лекцию о Шиллере. У нас он пробыл лишь с вечера до утра. Перелистав рукопись «Ивана Денисовича», отмахнулся от нее, небрежно бросив: «Это — типичная производственная повесть». Да еще нашел, что она перегружена деталями.

Однако через два года с помощью того же самого Копелева повесть была передана в «Новый мир».

## Перекрестки

В ноябре 1962 года, через несколько дней после публикации «Ивана Денисовича», я везла, ошалевшая от счастья, в Москву два новых рассказа мужа. В нашем удобном электропоезде Рязань — Москва, с мягкими сиденьями и откидными спинками и столиками, так уютно бывало всю трехчасовую поездку читать и даже делать записи. Но на этот раз она прошла в оживленной беседе. Попутчиком оказался доцент моего института. Разговор коснулся «Нового мира».

— Вообще-то я его не читаю, — сказал он, — но вот 11-й номер надо будет достать. Кстати, вы читали статью Симонова в «Известиях»?

— Читала не только статью Симонова, но и самого «Ивана Денисовича», — и, не удержавшись, впервые призналась: — Его автор — мой муж!

С тем же доцентом я встречаюсь поздним декабрьским вечером 70-го года на стоянке такси, сойдя с поезда Москва — Рязань. Это произойдет вскоре после присуждения Солженицыну Нобелевской премии и в разгар наших личных драматических событий. Мы вспомним с доцентом о той, 8-летней давности, поездке.

Доцент, вероятно, забыл об этой встрече через несколько минут. А меня этот разговор заставил заново пережить множество событий того, ныне уже далекого времени. То были переломные годы нашей жизни, когда сбывались давние надежды и рождались новые, когда мир

казался солнечным даже в пасмурную погоду и ничто, казалось, не предвещало позднейшей катастрофы.

Перед моими глазами пробегают кадр за кадром из фильма о моей собственной жизни, заставляя меня снова радоваться, снова волноваться.

Но как много значит, если знаешь финал фильма! То, что когда-то представлялось значительным, порой отступает на второй план. А некоторые события, когда-то казавшиеся не столь уже важными, отдельные поступки, детали поведения обретают бóльший смысл. И ловишь себя на мысли: как же можно было не видеть, к чему это приведет!..

Я снова и снова просматриваю киноленту былых лет, останавливая то один кадр, то другой — чтобы пристальней взглядеться, чтобы лучше понять...

...Я иду по заснеженной зимней улице в институт. Муж уехал в Москву утренним семичасовым поездом на первую встречу с первым своим редактором. Он едет к Твардовскому в «Новый мир».

А у меня, совсем некстати, — открытая лекция по полимерам. Это как-то опустило на землю, ввело в привычное русло. Закрались сомнения: а действительно ли изменится наша судьба?.. По дороге загадала: если первым со мной поздоровается мужчина — у Сани все будет удачно!

Первым поздоровался наш институтский дворник, милейший Павел Алексеевич, дядя Паша. Да не просто поздоровался, а, как редко кто в наши дни делает, снял шапку и низко поклонился.

Вечером Александр Исаевич вернулся домой. Приехал он какой-то даже растерянный. Молча вынул из чемоданчика и показал нам с мамой большой плотный лист, на котором значилось: Д О Г О В О Р.

Сменяют друг друга месяцы. Прошла весна, кончается лето. Вопрос о публикации «Ивана Денисовича» все еще не решен. Письмо из «Нового мира» обнадеживает: «...новости могут быть каждый день...»

И ровно через неделю после его получения у нас дома произошел курьезный случай. Отдыхая после обеда, мы оба читали, каждый свое. Вдруг муж говорит мне:

— Что это за часы в нашей комнате?



— Будильник.

— Нет.

— Ну, значит, это мои тикают...— и я даю ему послушать свои ручные часы.

— Нет, не эти.

В этот миг раздается оглушающий звонок невидимого будильника из дальнего угла. Испуг, еще больше — удивление... Александр Исаевич достает из тумбочки наш старый испорченный будильник, пролежавший там года полтора по меньшей мере. Этот удивительный звонок прозвучал у нас в 17 часов 41 минуту 24 сентября 1962 года. Быть может, когда-нибудь, мы узнаем, что что-то особо для нас важное произошло в этот момент.

А может быть, это просто сигнал нам, что пора проснуться и ехать в Москву узнавать новости?..

И как раз кстати!

И еще один визит в Москву. Через месяц. В десять часов вечера я вышла из дому, чтобы встретить мужа. Он уже у порога: в сером пальто, с серым чемоданчиком в руках, со светлой радостью на лице:

— Взошла моя звезда!..

Все быстрее бег времени. Другие и по характеру и по краскам своим события входят в нашу жизнь.

Морозная новогодняя ночь. Театр «Современник» на площади Маяковского. Спектакль окончен. Артисты встречают Новый год.

В фойе расставлены квадратные столики. Каждый стол перерезает планка с пятью зелеными металлическими блюдечками. На них — небольшие свечи; другого освещения нет. Над столами — незаметно закрепленные еловые ветви со свисающими с них лентами, блестящими шарами, бенгальскими огнями.

За одним из таких столиков — мы с Александром Исаевичем. Близится полночь. За три минуты до того, как она наступит, к нам присоединяются О. Н. Ефремов, главный режиссер театра, и его жена актриса Алла Покровская. Олег Николаевич только что вернулся с киносъемки «Войны и мира», где он играет Долохова.

Бьет двенадцать часов. Все поднимают бокалы с шампанским. «С Новым годом!..»

И вот уже гремит радиола, искрятся бенгальские огни, взрываются хлопушки.

Из-за столиков поднимаются пары. Шарфы, меховые накидки остаются на стульях. На женщинах по большей части декольтированные платья. Руки обнажены.

Танцуют твист. Как не похоже на нашу молодость!

Это — наш первый Новый год (тогда я не поверила бы, что и последний!) в таком большом и блестящем обществе.

Что принесут нам грядущие двенадцать месяцев?.. Принесут массу событий, хлопот, волнений и много такого, что не трудно было предвидеть, в чем не было ничего угрожающего, но все-таки сделало мою жизнь сложнее.

Все чаще и чаще мы с мужем врозь. Я — в Рязани, он — в Солотче или в Москве.

Хотелось бы ездить вместе с мужем. Быть около него и в Солотче — хозяйничать, перепечатывать, помогать во всем. Иногда мелькает мысль: может быть, бросить институт? Некоторые наши знакомые даже не сомневаются, что именно так я и должна поступить.

Но... такова уж особенность литературных заработков. Людям сторонним они кажутся гигантскими. Не учитывается только, что гонорары получают не каждые две недели, и даже не каждый год. Наши материальные дела идут пока превосходно. Повесть выдержала три издания... Но это сегодня. А завтра?.. Завтра опять понадобится мой доцентский заработок. И еще очень долго будет нужен! (До самого 1969 года!) Так что о превращении в «только жену» пока что не может быть и речи.

В свободное от института время вожусь с корреспонденцией (а ее очень много) и выполняю прочие «секретарские обязанности». Если погода хорошая — сижу с папками в садике. Немножко хозяйничаю и много играю.

Институт значит для меня все меньше и меньше.

И впервые закрался страх — что я могу не угнаться за мужем в стремительном потоке событий. Фактов не было. А интуитивное предчувствие было. Может быть, права была моя мама, часто повторяя слова моего отца: женская интуиция выше мужской логики?.. Мне стало вдруг казаться, что я могу отстать, оторваться от мужа в этом потоке, пойти ко дну. Значит, нужно было не упус-

кать из виду тот бережок, к которому можно было бы приплыть, чтобы стать на свои собственные ноги. Если, конечно, у меня хватит к тому времени сил подняться.

Моя работа в институте уже давно не была для меня таким вожделенным берегом. Вернее всего, им могла стать моя музыка...

Муж обещал мне и поддерживал во мне иллюзии, что, когда его напечатают, круг наших знакомых неизмеримо расширится, и я получу то музыкальное общение, которого мне так не хватало.

Человеку свойственна потребность самовыражения. «Найти себя и проявить себя!» — так когда-то сформулировали мы с моей лучшей подругой Лидой цель человеческой жизни. Выразить себя в мыслях... Выразить себя в чувствах... В музыке я выражала себя откровеннее, чем в словах. Здесь, до того, как я получила страшный удар осенью 1970 года, я была предельно сдержанна, даже скрытна...

А потому мне всегда казалось, что тот, кто не слышал моей игры, меня не знает.

В те дни я не упускала ни одной возможности музицировать. И уж никак не думалось тогда, что пройдет время и я услышу от мужа странную оценку: «Ведь ты не великий музыкант». Только великие, стало быть, имеют право себя выразить. Остальным суждено остаться безликими...

Это был один из тех случаев, когда мне приходилось удивляться каким-то новым, незнакомым и мало понятным мне суждениям Александра. И не только в отношении меня. Эти новые ноты звучали и в разговорах с друзьями, в отношении к ним.

Мы навещаем художника Ивашева-Мусатова. Он ведет нас в свою мастерскую. Александр Исаевич не в первый раз видит картины этого художника, написанные Сергеем Михайловичем на воле. Он не перестает надеяться, что Ивашев-Мусатов обратит свою кисть на то, через что прошли они оба. Однако Сергей Михайлович по-прежнему основной картиной своей считает «Отелло». Она написана уже в нескольких вариантах...

Александр Исаевич помнил, что художник начал работать над «Отелло» еще в 56-м году. Нет, он решитель-

но не понимает этого.— Ведь образы Шекспира уже отражены в тысячах полотен...

И в тот раз, и позже Солженицын всячески старался переубедить своего друга, перенаправить его творчество. Долго будет спорить с ним, а потом поймет, что пути у них разные.

Сергея Михайловича больше захватывают глубоко личные переживания человека. Он чувствует в Шекспире ту творческую мощь, которая максимально приближает к познанию добра и зла.

После одной из встреч от Сергея Михайловича пришло письмо, где говорилось о том, что очень страшно, когда люди, любящие и ценящие друг друга, разбрасываются жизнью так, что даже не могут повидаться и обменяться какими-то душевными мыслями, сказать что-то такое, чего не скажешь просто знакомому, а только другу. «И хотел предложить Вам, дорогой Александр Исаевич: давайте реже встречаться, но по-настоящему, чтобы потом не возникало горестного ощущения отдаления. Хорошо?»

Сергей Михайлович делает попытку спасти дружбу, такую, как всегда думалось, неразливную дружбу, которой и сам Александр Исаевич так до того дорожил, спасти ее в новой для Александра Исаевича полосе жизни! Ему дают совет! Но Солженицына спасти уже невозможно. Обстоятельства оказались сильнее его. Как все успеть? Как все совместить, не украв времени у творчества?.. Надо что-то выбирать, что-то и кого-то предпочитать. То ли выбрал Александр Исаевич? Тех ли?..

Я всегда старалась и внешне и внутренне оправдать своего мужа. И я мысленно да и в письме как-то обращалась к Сергею Михайловичу, добиваясь понимания: «Дорогой Сергей Михайлович! Вспомните, как вы сами, находясь в «творческом запое», долго-долго как-то не отвечали нам? А у моего мужа этот творческий запой никогда не обрывается...»

Но причина отхода была глубже. Уже позже я услышала от Сергея Михайловича, что человек, взгляд которого обращен только в прошлое, не может ни жить, ни творить полноценно... Он вспоминает, как после освобождения у него «выросли новые крылья», «открылся простор для творчества», для новых работ и новых радо-

стей... Ясно, что при таких полярных умонастроениях связь между старыми друзьями не могла не слабеть.

Наступает охлаждение и в отношении с другими лагерными друзьями. Погруженный как в мыслях своих, так и в творчестве в прошлое, Солженицын не может понять, почему интерес к этому у его друзей слабеет, почему в их жизни все громче звучит другая музыка.

Он не мог не радоваться делам и успехам старого доброго друга инженера Потапова, который с юношеским энтузиазмом, переезжая со стройки на стройку, с наслаждением отдавался работе. И в то же время «легкий» уход Потапова от столь важного и ценного для Александра прошлого постепенно размывал бывшие связи между ними. Прошли годы и как-то он горестно сказал: «Мы ему не нужны больше».

Юрий Васильевич Карбе, ныне покойный, тоже инженер по профессии, был одним из самых близких Александру людей в Экибастузе. А на воле сначала была дружба, хотя и жили далеко друг от друга. Летом 62-го года мы навестили семью Карбе в Свердловске. Позже и он побывал у нас. И именно от него была самая первая поздравительная телеграмма по поводу выхода «Одного дня Ивана Денисовича». Карбе очень тяжело пережил, когда понял, что у Александра Исаевича для старых друзей не находится времени.

Не вызвал уж такой большой радости у моего мужа и переезд в Рязань в феврале 1962 года Николая Виткевича, занявшего должность доцента химии в Медицинском институте.

Этот переезд, очень радостный для меня, вызвал у него противоречивые чувства. Они с Николаем уже не были теми «двумя поездами, которые идут рядом с одной скоростью», так что «можно на ходу переходить из одного в другой», как это было во время войны. Совместное пребывание в Марфинской «шарашке» показало это. «Будет ли между нами что-нибудь общее, кроме воспоминаний?» — говорил мне муж.

Действительно, наша дружба вчетвером в Рязани оказалась хрупкой, хотя на первых порах она поддерживалась и нашими с Николаем общими «химическими» интересами, и совместными велосипедными прогулками.

Многолетняя дружба разрешала нам доверять Виткевичам. Они могли стать первыми читателями произведе-

ний моего мужа, но не стали ими. Литература, искусство, политика не были обычно темами наших бесед. Говорили о работе, о летних планах, домашних делах... И все же невозможно было предположить, что встреча Нового, 65-го года принесет нам полный разрыв с Виткевичами.

Незадолго до того муж решил дать им прочесть его «Шарашку». Ведь там и кусочек жизни Николая! И вообще, как можно, чтобы они не читали самой главной в ту пору его вещи?..

Встретить 65-й год Виткевичи пришли к нам, на Касимовский. И здесь, за новогодним столом, обстановка вдруг стала накаляться.

Николай заявил, что между нами нет откровенности. Я пыталась возражать. Но получила ответ, что мне только кажется, что мы с ними откровенны.

Александр настороженно высказался, что если у него с кем-то не возникает откровенности, то он больше с этим человеком не видится...

Заговорили о романе. Виткевичи успели прочесть только несколько глав. Тем не менее Николай сказал, что видит в каждой написанной странице нескромность, претензию автора на собственное неоспоримое мнение. Но тут же сам проявил полную безапелляционность в суждении о великих русских писателях, высказав в пылу полемики небрежение даже к Толстому и Достоевскому. Но особенно раздражают его те, «кто считает себя их последователями».

Александр попросил назвать, кого он имеет в виду.

— Хотя бы тебя,— ответил Николай, не задумываясь.

На следующий же день Александр съездил к Виткевичам и под каким-то предлогом забрал у них свое любимое детище, которое те не оценили... (А не лучше ли было бы выслушать критику?.. Разве писателю полезны только похвалы?..)

В том же году у Виткевичей родился сын. Я предложила мужу подняться выше нашей ссоры и поздравить их.

— Не знаю, чем рождение ребенка большее событие, чем рождение романа... Ведь они не признали моей «Шарашки»...

Много лет спустя Александр Исаевич поймет, что значит рождение ребенка. И дело вовсе не в том, что Александр был в 65-м году менее чуток. Скорее наоборот.

Просто «детский вопрос» лежал в ту пору вне сферы его интересов. А все, что не имело непосредственного касательства к этим его интересам, для Солженицына, с самых ранних лет, будто бы и не существовало.

Так и складывалось до известной степени одностороннее восприятие жизни. Луч выхватывает из полумрака узкий сектор. Все в этом секторе выпукло, красочно. А за его границами едва различимо.

Отсюда и наивные, а то и просто фантастические представления о самых простых житейских вещах. И сочинение «планов» — вроде тех, что были связаны с кризисами в нашей с ним жизни, просто потрясавших людей своей отчужденностью от реального.

Отсюда и промахи творческого характера, не раз подстерегавшие Солженицына, когда он начинал писать о том, чего не видел сам, а лишь пытался представить. А если учесть, что круг собеседников, знакомых, через которых можно воспринимать окружающий мир, у нашего добровольного «затворника» всегда был узок и не отличался большим разнообразием, удивительно ли, что им делались попытки навязать жизни выводы, сконструированные в собственном мозгу?

Шло это от отсутствия достаточного интереса к шумящей вокруг него жизни, от недостатка опыта, глубокого знания жизни и людей. Не хватало обилия наблюдений, которое единственно дает писателю возможность щедро и вольно пользоваться ими. А если и было — то лишь из одной, узкой сферы жизни — лагерной.

Время старых друзей уходило безвозвратно.

Появились новые, из числа почитателей Солженицына.

Но теперь уже не было ни одной дружбы равного с равным. Если эти люди нового его окружения и черпали для себя что-то от общения со своим кумиром, то для него самого они были лишь более или менее «нужные люди».

Если в былые времена Александра тянуло к людям, повидавшим жизнь, любившим и умевшим поразмышлять над ней, к таким, у которых можно много почерпнуть, то теперь его стали интересовать те, кто помогал ему в работе, в самом узком смысле слова. Подобрать материал, раздобыть необходимую книгу или статью, что-то перепечатать, встретиться с человеком, который

может сообщить интересные факты и записать разговор. Словом, это были люди, облегчавшие литературный труд Солженицына, помогающие ему сберечь время.

Время-то они, может быть, и помогли сэкономить. Но... какой ценой?

Если со старыми друзьями были серьезные разговоры и даже дискуссии о творчестве, литературе, о произведениях самого Солженицына, то здесь всего этого не было. Во всех вопросах Солженицын отныне разбирался настолько лучше кого бы то ни было, что никакой потребности в общении такого рода он уже не ощущал. (Даже мне — химику — он как-то разъяснял только ему ведомую тайну октановых чисел бензина.) Солженицына не волновали проблемы и заботы этих новых «друзей», не интересовал их внутренний мир.

Итак, десятки друзей и ни одного друга.

Некоторые из этих людей бывали даже назойливыми. Так, Жоресу Медведеву настолько импонировала репутация «друга Солженицына», что ради этого он порой прятал в карман чувство собственного достоинства.

Живя в Обнинске, Жорес предпочитал добираться до Москвы не по железной дороге, а на попутных машинах, чтобы ехать мимо нашей дачи с обязательной остановкой у нас. Он не мог не чувствовать, что этому визиту далеко не всегда рады. И все-таки, хотя однажды его буквально выпроводили со двора, он снова и снова появлялся у нас.

В 1965 году Жорес Медведев развил бешеную деятельность, стараясь устроить меня в научно-исследовательский институт в Обнинске с тем, чтобы мы переехали туда. Когда это сорвалось, он был немало огорчен. Не смог стать благодетелем нашей семьи! Правда, он не оставляет попыток и не упускает случая «защищать» Солженицына и ныне. Так, прослышав о моей книге и не имея о ней никакого представления, он поспешил выступить с заявлением, что я якобы поклялась ему, Жоресу Медведеву, посвятить свою жизнь «мести Солженицыну». Это заявление настолько комично, что на Жореса в данном случае даже нельзя сердиться.

Лидия Корнеевна Чуковская предоставляет Александру Исаевичу комнату в своей московской квартире, ее дочь Люша весь свой досуг посвящает печатанью на машинке его страниц. Они, да и многие другие поставили себя так, что Солженицын все воспринимал как должное,



считая, что он чуть ли не облагодетельствовал всех их, милостиво разрешая служить ему. А те, в свою очередь, верили, что Александр Исаевич — гений и что ему все позволено.

Сто раз была права Надежда Александровна Павлович, когда позднее написала: «Мы виноваты, что развратили Вас... и славой и почти поклонением...»

Я как-то спросила мужа, почему у него такое «дамское» окружение. Ожидала, что он рассердится, будет возражать. Но он ответил даже растерянно:

— Не знаю. Как-то само собой получилось.

Справедливость требует упомянуть о самой, пожалуй, преданной почитательнице Солженицына.

Как-то в Публичной библиотеке Ленинграда немолодая уже женщина 40 минут изучала моего мужа прежде, чем подойти к нему (ей было разрешено прийти в библиотеку познакомиться). Позже она рассказывала мне, что дивилась, с какой ловкостью Александр Исаевич подбрасывает и, не глядя, ловит на лету карандаш, успевший несколько раз перевернуться в воздухе. (Он и в самом деле проделывал это виртуозно.) Она говорила мне, что боялась подойти к Солженицыну: ответит ли он тому образу, который у нее создался, к которому обращала она, в частности, и такие строки: «Нас — тысячи! Вы — один. И никто, никто из нас не смеет претендовать на Ваше внимание. Сердиться на того, кому молишься, нельзя. Жду со страстным нетерпением Вашего звонка...»

Этой восторженной почитательницей была Елизавета Денисовна Воронянская. Вскоре после знакомства с нами она выйдет на пенсию. Чтобы быть полезной своему миру, изучит машинопись. В любое время муж мог обратиться к ней буквально с любой просьбой, зная, что эта женщина сделает для него все, что в ее силах.

Осенью 73-го года она не захотела простить себе того ущерба, который она, как ей во всяком случае казалось, нанесла «тому, кому молишься», и она повесилась в своей комнате рядом с портретом Солженицына.

С другими людьми отношения были сведены к необходимому минимуму.

Как к писателю, получившему известность, к Солженицыну стали тянуться начинающие авторы. Но довольно скоро Александр Исаевич нашел форму защиты от них и назвал ее «формой № 1». Вот ее текст:

Вы прислали мне свою рукопись и просите дать отзыв о ней (доработка, совет, можно ли печатать).

Жаль, что Вы предварительно не спросили моего согласия на это. Вам представляется естественным, что всякий писатель может и должен дать Вам отзыв об уровне, о качестве Вашей работы и что это для него не составляет труда.

А между тем это очень емкая работа: дать отзыв поверхностный, лишь чуть-чуть перелистав — безответственно; можно либо без основания Вас огорчить, либо так же без основания обнадежить. Дать же отзыв квалифицированный — значит надо по-серьезному вникнуть в Вашу рукопись и оценить не только ее, но и цели, которые Вы ставите перед своим пером (они ведь могут и не совпасть у Вас и у Вашего рецензента).

Состояние здоровья моего и поздний приход в литературу (заставляет меня крайне дорожить своим временем) и делают невозможным выполнить Вашу просьбу.

Поверьте, что безымянный (для Вас) рецензент, постоянно занимающийся подобной работой в журнале, скажем, в «Новом мире», сумеет Вас лучше удовлетворить, чем я.

Всего доброго!

(подпись)

В свое время молодой Солженицын счел естественным обращаться к Константину Федину и к Борису Лавреневу со своими первыми опусами. И ответ он получал отнюдь не по «Форме № 1».

Одним из немногих исключений был случай с ленинградской писательницей Татьяной Казанской.

Летом 1963 года мы с Александром Исаевичем посетили в Ленинграде Анну Андреевну Ахматову. Когда мы вышли от Ахматовой, на трамвайной остановке нас догнала худенькая женщина с остреньким лицом, в очках, показавшаяся нам совсем молоденькой. Очень волнуясь, она протянула Александру Исаевичу рукопись и стала просить его ее прочесть.

— Почему вы обращаетесь именно ко мне?

— Потому что мне очень нравится то, что вы пишете.

Мой муж не устоял и взял, предупредив только, что в Ленинграде читать не будет.

Далеко не сразу, но Александр Исаевич все же написал развернутую рецензию, ворча при этом, сколько времени она у него отняла.

«Рассказ — на пороге удачи,— резюмировал он.— Чтобы перешагнуть этот порог, хотелось бы...»

Одним словом, Казанской повезло! Но она, потеряв чувство меры, прислала еще один рассказ, на который ответа, конечно же, не получила!

Невезучими оказались не только начинающие писатели, но и представители других профессий. Солженицын наотрез отказывается принимать журналистов, читателей и вообще каких бы то ни было посетителей. Стена между писателем и жизнью растет.

Как-то раз пожаловали два московских скульптора. Они делают портрет Солженицына. Им надо если не поговорить, то хотя бы посмотреть на него.

Я вежливо пытаюсь убедить скульпторов оставить свои попытки. Но мне это плохо удается.

Наконец, мой муж, потеряв терпение, выходит и, оттеснив меня, захлопывает дверь перед скульпторами. Я горестно пошутила, что так теперь и изобразят его, захлопывающего дверь перед посетителями...

Один раз мы были за все это наказаны. Два журналиста проникли к нам под видом контролеров из городского управления электросети. В результате был составлен акт, официально запрещающий пользоваться лампочкой в нашем подполе.

Почти год мы спускались туда за соленьями с карманным фонариком, пока не поняли, что нас просто «разыграли».

У Александра Исаевича в эти годы не было недостатка в знакомствах с интересными людьми, многие из которых относились к нему искренне и благожелательно. Почему же произошло так, что предпочтение было отдано отнюдь не им. Мне кажется, что лучше всего это видно на примере так и не состоявшейся дружбы с Александром Трифоновичем Твардовским.

Симпатия к Твардовскому у Александра Исаевича была с давних пор. Еще в 44-м году муж писал мне с фронта, что ему попала первая «правдивая (в моем духе) книжка о войне». Это была поэма «Василий Теркин».

Александр Исаевич решил отдать свою повесть «Один день Ивана Денисовича» на суд именно Твардовскому потому, что высоко ценил его как писателя. Кроме того, Александр Исаевич надеялся, что Александр Трифонович примет повесть еще и сердцем. Сам вышедший из крестьянской среды, Твардовский не мог, как думал муж, не оценить выбора героя.

Реакция Твардовского превзошла все его надежды.

Позже Твардовский принял и следующие рассказы Солженицына: «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка».

Александр Трифонович был трогательно заботлив к Александру Исаевичу. Получив от него «Кречетовку», он, на всякий случай, успокаивал Солженицына: «Так бывает, что один рассказ удается, а следующий — нет». И просил не отчаиваться в случае неудачи.

Незадолго до выхода «Ивана Денисовича» Александр Исаевич получил от Твардовского большое письмо, полное не только надежд, но и тревоги за Солженицына, за его будущее. «По праву возраста и литературного опыта» он предупреждал Александра Исаевича, что ему предстоит столкнуться и с «интересом к Вам, подогретым порой и внелитературными импульсами». Твардовский вел эту речь к тому, чтобы подчеркнуть свою надежду на спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства Солженицына.

«Вы прошли многие испытания, в которых сложился и возмужал Ваш дар, и трудно представить, чтобы Вы не выдержали испытания славой».

Интересно, что с тревогой Твардовского перекликается письмо незнакомой нам читательницы — москвички В. К., которое придет к нам месяца через три после выхода «Ивана Денисовича».

«Друг — человек, Солженицын!»

Пишу я Вам потому, что мне приказано написать это вот письмо».

А приказывала читательнице «сама Жизнь, сам Ее сокровенный смысл».

Она писала, что повесть вызвала у нее смешанные чувства. Во-первых, скверно уже то — «что Вы станете модным». А это означало, что «помимо Вашей воли, кто-то постарается Вас использовать для своих каких-то целей».

Она сулила Солженицыну, что — Жизнь даст ему испытание гораздо более трудное, чем все лишения лагерных лет.

В день выхода «Ивана Денисовича», 18 ноября 1962 года, в воскресенье, Солженицын по вызову Твардовского поехал к нему, чтобы выслушать его замечания к рассказу «Случай на станции Кречетовка».

Александр Трифонович сразу же положил перед ним на стол «Известия», открытые на пятой странице. Александр Исаевич вскользь посмотрел, отложил газету в сторону и решительно предложил:

— Давайте приступим к делу! (То есть к разбору «Случая».)

Твардовский пожал плечами и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь. Пришлось в принудительном порядке прочесть статью Симонова.

(Статьей этой, кстати сказать, Солженицын остался недоволен. Он говорил мне, что Симонов «ничего не написал о языке, о проникновении в душу простого человека».)

Разговор о «Кречетовке» начался с вопроса Твардовского, как разбирать рассказ: с наркозом или без наркоза. Александр Исаевич, разумеется, от наркоза отказался. Александр Трифонович сделал довольно много замечаний. Автор все их встречал в штыки. «Да вы отстаивайте рубеж, а не каждый окопчик!» — сдерживал его Твардовский.

Александр Исаевичу очень хотелось знать мнение Твардовского о романе «В круге первом».

Сначала он дал прочесть Твардовскому несколько глав, в которых проходила линия Глеба и Нади Нержинных. Главы эти Александру Трифоновичу в общем-то понравились. Однако он счел, что печатать их, не имея продолжения рассказа, оборванного вдруг на полуслове, — «нерасчет, порча дела».

И вот Александр Исаевич решает сделать еще одну редакцию «Круга первого». Он покажет ее Твардовскому. И тот, быть может, ее опубликует?..

2 мая 1964 года Александр Трифонович приехал к нам домой в Рязань.

Встретили мы его на вокзале, со своей машиной.

Я вижу Твардовского впервые. Большой, в светло-синем плаще и синем берете, отчего глаза синие-синие... Александру Трифоновичу тесно в нашем маленьком «Денисе» (так мы называли своего «Москвича»). Так и хочется расширить его, сделать повыше!

В кабинете за нашим круглым столом сервирован ужин.

В распоряжение Александра Трифоновича предоставляется кабинет моего мужа. На письменном столе лежит толстая стопа печатных листов — рукопись романа «В круге первом».

На следующий день сразу после завтрака Твардовский неотрывно читает... Поставили ему термос с чаем. Чай он любит пить с медом, даже привез с собой баночку. Чтобы не мешать — мы ушли в садик. Муж занялся машиной, я — грядками.

За обедом Александр Трифонович, явно заинтересовавшийся романом, все время повторял, что он наперед ничего говорить не будет. Но мы оба чувствовали, что роман ему нравится...

После обеда мужчины вышли в садик, а я села немного поиграть. Когда возвращались, Александр Трифонович услышал и уговорил меня не прерывать игры. Еще, еще... Стал хвалить: как хорошо иметь такую жену, которая может вот так сесть за рояль и сыграть и одно, и другое... Почему Александр Исаевич куда-то убежал? Как можно этого не слушать?.. Он даже пытался его насильно притянуть в кабинет из моей комнаты, где тот в это время слушал передачу Би-би-си...

Твардовский покорила всех наших домашних. Что же в том было удивительного? В его синих глазах на правильном простодушном лице столько еще чего-то детского, чистого вместе с приобретенной грустью... И вежлив очень со всеми, предупредителен...

На следующий день — снова чтение. И еще день — то же. Слышим, как иногда напевает. А Александр Исаевич, верный своему принципу — заниматься нетворческими делами, когда кто-нибудь приезжает, опять возит-ся с машиной.

Муж рассказывал в тот раз за обедом об обстоятельствах своего ареста. Я показала Александру Трифоновичу некоторые фотографии. Помню, ему особенно понравился наш с мужем снимок на фронте, за чтением «Матвея Кожемякина» Горького, на поваленной сосне.

На следующий день, уходя на работу, я успела услышать, как Трифонович говорил, что ему очень жалко Симочку.

— И Надю тоже,— грустно добавил он.

6 мая после завтрака идет обсуждение замечаний Твардовского прямо по тексту. Насколько помню, больше всего их было по «сталинским» главам. Я смеюсь, что наконец-то присутствую в редакции «Нового мира» на обсуждении.

Как жаль, что отношения между Твардовским и Солженицыным не переросли в настоящую дружбу! Еще до выхода «Ивана Денисовича» казалось, что она начинается... В ту пору для Александра Исаевича это было пределом мечтаний. Но он тут же решил, что в чем-то эта дружба будет покушением на его независимость. Дружба обязывает обе стороны! Твардовский старше, Твардовский опытнее. Он будет давать советы. А Александр Исаевич все меньше будет нуждаться в чьих бы то ни было советах вообще. Он лучше всех будет знать, как ему поступать! Никто не может стать для него непрерываемым авторитетом! Даже Твардовский.

Позднее мужа потянет посоветоваться с Твардовским. И не один раз. Но поступать он все равно будет по-своему. Он не даст Твардовскому уберечь его от опрометчивых шагов, которые так осложнили его литературную и гражданскую судьбу!

Новая редакция «Круга», которую читал Твардовский, содержала ряд существенных изменений. Одно из них состояло в том, что сменилась магнитная лента, которую заключенный Рубин (в старой редакции Левин) расшифровывал в лаборатории Мавринского института.

И вот — новая редакция «Круга» у Копелевых. Как-то Лев ее воспримет?.. Дело в том, что в старой редакции заключенный Яков Григорьевич Левин помогал государству поймать путем расшифровки записи телефонного разговора человека, предавшего интересы своей Родины, возможно, разведчика одной иностранной державы. Про-

образ, Лев Копелев, не возражал против такого, близкого к действительности, варианта. В новой редакции Лев Рубин помогает поставить под удар хорошего, доброго человека, предостерегающего милого старика-ученого от неосторожных контактов с иностранцами. Не изменника Родины, не шпиона, а порядочного человека, не совершившего в сущности ничего дурного. Этого Копелев, конечно, никогда бы не сделал.

Я очень огорчилась, когда услышала от мужа, что у него со Львом был очень нервный разговор.

Позднее Копелев прислал письмо. Оно было очень важным, требовавшим обдумывания. Копелев считал, что, несмотря на размолвку, совершенно необходимо изложить ему все, что думал по поводу «Круга». «Наберись терпения — прочти, а там уж помоги тебе Бог».

Это письмо отнюдь не было посвящено лишь тому вопросу, который волновал Копелева: оправдан или не оправдан поступок Рубина, помогающего погубить хорошего человека. Письмо это было серьезнейшим критическим разбором всего романа.

В нем прежде всего было сказано о несоразмерности солженицынских способностей непосредственного отображения и умозрительного воображения. Отсюда — качественная разница между двумя «слоями» романа: изображенным и воображенным.

Уже «в самой основе художественной ткани» романа Копелев видит «субъективную предвзятость», «неопределенность ээковского ощущения, что там за стенами». В результате Копелев делает вывод о «внутренней двойственности» романа, потому более слабого, чем повесть и рассказы.

Копелев выражал тревогу, что успех повести и рассказов, поклонение и похвалы внушили его другу «опасную уверенность» в том, что он уже «все истины держит в горсти». «А ведь этот успех и признание — не только право, а прежде всего великий долг». Он предлагает Солженицыну постараться понять, в чем главная сила, и лишь после этого «подтягивать фланги и тылы». Он боится верить «в тех гомункулусов, которые должны быть зачаты в газетно-архивных ретортах». (Под этим разумелся и будущий «Август четырнадцатого». Александр Исаевич тут же на полях сделал приписку: «Посмотрим».)



Ответ на это письмо у Александра был готов несколько дней спустя. Он объясняет, почему не может принять замечания Копелева всерьез, упрекая его за неверную оценку в свое время «Ивана Денисовича» и «Матрены». «Хорош бы я был, если б я оба раза тебя послушался! И ты не можешь требовать, чтобы я и впредь принимал твои вкусы без доказательств».

Однако ответы Солженицына на отдельные затронутые вопросы оказались куда менее доказательными, чем доводы Льва Копелева. Принято во внимание лишь одно: «То, что ты говоришь о прокурорских главах (об этом и другие говорят), я буду пережевывать. Пока помолчу».

О соотношении памяти и воображения «не мне судить», писал Солженицын,— но «я буду убит», если пойму, что на воображении не могу писать, ибо не все же можно увидеть самому.

Что касается Рубина, то Александр собирался сделать все, что возможно в пределах, которые выдержит роман.

Нашлись люди, которые, узнав роман только в новой редакции, усомнились, можно ли Копелеву после этого подавать руку. Ведь для некоторых он выглядел подлецом.

Попытались найти выход. Солженицын написал Копелеву «реабилитационное» письмо, которое он может показывать, кому пожелает и, в частности, тем, кто подумает, что он отныне не заслуживает даже пожатия руки...

\* \* \*

Мои «секретарские обязанности» все ширятся. Классифицируются, раскладываются по пронумерованным папкам письма. Заводятся папки и для газетных и журнальных отзывов. Их уже тоже немало, и чем больше проходит времени, тем разнохарактерней становятся они.

Первые, по горячим следам, оценки были единодушно-положительными. В них отмечались и литературные достоинства повести. Но главный акцент делался на самом факте ее публикации, на необходимости произведения на

«лагерную» тему. Вызывала симпатию сама биография автора. Сильно было сочувствие к невинно пострадавшим в годы культа личности.

Александр Исаевич сам понимал, что успеху повести в значительной степени способствовала поднятая им тема. Характерно, что, когда вышли два его рассказа — «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка», — он сказал мне: «Вот теперь пусть судят. Там — тема. Здесь — чистая литература».

Журнальные статьи, в отличие от газетных, были гораздо подробнее, и речь в них шла о чисто литературных качествах произведения. Нередко высказывались диаметрально противоположные взгляды. Было немало лестного и немало обидного. Но Александр Исаевич и к тому и к другому относился довольно спокойно. Похвалы воспринимались как должное. Упреки — как результат непонимания или как доказательство слишком большой разницы во взглядах критиков, с одной стороны, и автора повести — с другой, на жизнь, на литературу. Я гораздо болезненнее воспринимала критику в адрес мужа.

Споры о повести «Один день Ивана Денисовича» оживились в начале 1964 года в связи с выдвижением ее на Ленинскую премию.

Почти одновременно с вынесением решения Комитета по премиям в газете «Правда» была напечатана статья под названием «Высокая требовательность». В ней подводятся итоги читательской почты. Одна группа читателей характеризует повесть только положительно, другая — отрицательно. Но... «Объективное читательское мнение о повести А. Солженицына несомненно выражает третья, самая большая группа писем. — Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии».

В отдельную папку, под номером 28, собирались различные вырезки из иностранных газет или их переводы, пришедшие к нам либо через «Новый мир», либо через «Международную книгу», либо присланные читателями.

Тогда эти отклики носили более откровенный, чем позднее, характер. Не было в них ни превосходных сте-

пеней, ни сравнений с классиками, ни обнаженной лести — всего того, что появилось позже. Авторам зарубежных рецензий и сам Солженицын, и его повесть интересовали лишь постольку поскольку. В их цели не входило критически оценить повесть, разобрать ее достоинства или недостатки, помочь автору лучше понять, чего же хочет от него читатель. Их больше интересовало, соответствует ли повесть их идеологии, годится ли она для доказательства их концепции русской жизни, русской литературы. Рецензенты с Запада (а среди них был весьма высок процент политических обозревателей) принадлежали к разным лагерям. Но было в них нечто общее, что бросалось в глаза.

Пожалуй, наиболее откровенно высказалась тогда английская «Йоркшир ивнинг пресс» 31.I.63. Оценивая повесть, она вынесла в заголовок: «Ценность политическая, но не литературная».

В свою очередь, «Ивнинг стандарт» 8.II.63 писала о том, что кое-кто пытается из книги наворочить «политическое сено».

Многозначительны были рассуждения западных рецензентов о борьбе «либералов» и «консерваторов» в СССР. Чувствовалось, что «Один день» определенные круги на Западе хотят сделать полем столкновения страстей, фокусом, в котором якобы скрещиваются все течения духовной жизни нашей страны.

Пройдет время. На Западе сложится целая литература о Солженицыне. По мере того, как имя его обрастает слухами и легендами, начнут повторяться стереотипы «Мученика», «Лидера русской демократии», «Борца за права человека» и тому подобное. Введут в практику сравнения Солженицына с Л. Толстым и Ф. Достоевским.

Появление Солженицына в Европе несколько охладит пыл западных «друзей». Подлинный «великий демократ» окажется совсем не таким, каким выдумала его сама же западная пресса. Поубавится и сравнений с Толстым. Теперь нужен не мученик, а политик. Появляется имя Герцена.

Разумеется, совершенно различны их идеалы, пути, которыми они оказались за пределами родины, их отношение к русскому народу, революции, прогрессу.

Правда, оба издавали журналы.  
У обоих было по две жены и все четыре — Натальи.

Но ведь не только журналы, даже Натальи могут быть совсем разными.

\* \* \*

В Москве Александру Исаевичу больше всего нравилось заниматься в Фундаментальной библиотеке общественных наук и в Центральном военно-историческом архиве, который помещается в бывшем Лефортовском дворце.

Там ему удалось докопаться до документов об его отце. В документе даже значится церковь в Белоруссии, где венчались его родители во время первой мировой войны.

Когда в конце января 1964 г., перед самым отъездом из Москвы в Ленинград, муж позвонил мне, то сказал, что свои занятия в библиотеке и в архиве оставляет в самый разгар работы, прерывает их на самом интересном...

...Зачем же было прерывать? Зачем вообще было ехать в Ленинград? Разве тех же материалов, что в Публичной библиотеке, нельзя было разыскать в Москве?..

Из Ленинграда муж не звонит мне. Но регулярно приходят от него письма. О том, как хорошо работается в «Публичке»!

Я довольно спокойна и, наконец-то, достаточно мужественно переносу разлуку.

12 февраля со студенткой музыкального училища играю в зале концерт Кабалевского. Мы с ней много репетировали у нас дома и заслужили похвалы.

Теперь — все силы на подготовку к собственному концерту! Он должен состояться в марте, перед нашей с мужем поездкой в Ташкент. Ему нужно побывать в своем онкодиспансере, добрать материал для «Ракового корпуса». А я поеду с ним — мне дают отпуск.

И вдруг, в это хмельное увлечение музыкой ворвалась растревожившая меня телеграмма.

Телеграмма пришла 13 февраля. От Воронянской: «Умоляем разрешить задержаться неделю».

Сначала особого значения телеграмме не придала. Подумала, что это прихоть Воронянской. Должно быть, под предлогом поспеть к 26 февраля домой муж отказывается от визитов. (Примерно так оно и было). Но потом... забеспокоилась.

Но по-настоящему расстроилась, когда от самого Александра получила письмо с той же просьбой: не укладываться, хочет задержаться, просит моего согласия...

Когда-то в 57-м году из Мильцева Александр писал о нашем неразрывном счастье, о том, что невозможно желать счастья мне и ему отдельно. «Значит, нам вместе! И чтобы впредь все дни рождения мы встречали только вместе!»

И это стало нашей традицией. Все прожитые с тех пор годы дома ли, в Солотче ли, в занятиях или катаясь на лыжах, мы проводили его в месте.

И вот теперь то, что, казалось бы, стало для нас не просто памятным днем, не просто праздником, а символом того, что отныне мы всегда вместе, начинает терять для него свою цену...

Мысль о женщине не приходила мне в голову. Я находилась под гипнозом раз и навсегда сказанного мне мужем: «Мое творчество — твоя единственная соперница». Развивая эту мысль дальше, я думала: значит, творчество — уже не просто соперница, а... счастливая соперница, которая все больше и больше забирает его у меня. Что поделаешь!

Но в последнем письме мужа чувствовалась какая-то едва уловимая отдаленность. Что-то чуть-чуть не то. И это «чуть-чуть» нашептывало мне, что происходит что-то серьезное.

Первая мысль: на свой день рождения сама поеду в Ленинград!

На дворе буря. Но я дважды мотаюсь на почту. Отсланы два письма и телеграмма. Это было 15 февраля. В тот же вечер, поздно, уже по телефону, передала еще одну телеграмму:

«Надо решить ты Рязань мы Москву я Ленинград звони телеграфируй».

Следующий день прошел. Ни звонка, ни телеграммы.

Нет, Александр не знает меня. Я ж была женой «зэка»! Что меня не пускает? Колючая проволока, что ли?..

Вот возьму и, не дожидаясь 26-го, съезжу в Ленинград. Но увы, тут же свалилась в вирусном гриппе, с высокой температурой...

На следующий день пришло письмо-телеграмма от мужа. Какое-то неопределенное. Покоя не наступило.

Из-за гриппа так ослабла, что о поездке нечего было и думать. Не вовремя напавший грипп может сработать, как колючая проволока. А я-то думала, что нет ничего ее страшнее. Но грипп проходит. А вот есть нечто, что во сто крат страшнее колючей проволоки. Тогда я об этом не подозревала...

Позвонить бы! Мне и в голову не приходило, что на квартире, где муж остановился, был телефон. Он не написал мне об этом.

Спустя несколько лет я останавливалась в Ленинграде в той же самой квартире. В первую же минуту, вещь свое пальто, задела этот самый скрывавшийся от меня телефон. Он упал. Трубка разбилась. Пришлось этот участвовавший в заговоре телефон заменить.

Я позвонила Воронянской. Кажется, Александр Исачевич собирается в ближайшие дни выехать в Москву. Сочувствия мне в ее голосе не было...

21 февраля получила от мужа телеграмму. Встречаемся с ним в Москве. Стало легче, но не легко... Что-то изменилось...

25 февраля мы с мужем едем навстречу друг другу: я из Рязани, он — из Ленинграда. Оба — в Москву.

Ехала в Москву несколько успокоившаяся. Но все-таки, встретив мужа вечером 25 февраля на Ленинградском вокзале, тут же, на перроне, сказала ему, что он стал «не моим». Отрицает. Он же сделал все, как я хотела. И даже привез мне подарок ко дню рождения. Им оказалась хорошенькая дамская сумочка бежевого цвета, которую, впрочем, я сразу невзлюбила.

А себе муж купил новый свитер. Меня удивило изменение его вкуса: свитер был черным, но с ярким рисунком. Сказал, что это Воронянская высмотрела его и уредила купить.

В этот вечер муж всячески старался рассеять мою настороженность. Всего месяц назад мы были с ним здесь же, вместе. Но все было будто и так, как перед его отъездом в Ленинград, а в чем-то все же не так...

Через несколько дней мы с мужем были у наших друзей Теушей. Очень наблюдательная Сусанна Лазаревна почувствовала какой-то новый оттенок в отношении мужа ко мне. Когда мы остались с ней наедине, спросила, не опасаясь ли я, что Александр Исаевич может увлечься какой-нибудь из артисток «Современника»...

— Это исключается. Я не сомневаюсь: творчество — моя единственная соперница...

В тот же день я уехала в Рязань. А еще через несколько дней вернулся и мой муж.

Мама моя почувствовала, что зять вернулся на этот раз домой совсем другим. Его как-то ничто дома не радовало, как бывало. Напротив, многое раздражало... Как на зло, часы, бой которых был снова остановлен к его приезду, нет-нет да прорывались и ударяли совсем невпопад, как будто лишь затем, чтобы напомнить об обеде, им нанесенной...

Я была в тот период очень занята в институте — проходила сессия заочников. Когда бывала дома, спешила сразу к роялю, не оставляя мысли выступить с концертом. А потому с мужем мы как-то меньше, чем обычно, общались. В основном Александр Исаевич занимался «Кругом», перерабатывал и дорабатывал отдельные главы.

Все было бы хорошо, если бы меня оставило ощущение, что муж в чем-то неуловимо изменился. Что-то между нами было недоговорено.

Наконец, не выдержала и спросила его об этом...

— В нашем доме совершено предательство,— сказал он.

— Кем? — не веря ушам, воскликнула я.

— Мамой.

— ???

Пока мы здесь в Рязани, он не скажет, в чем оно состоит. Потом, пожалуй, когда мы поедем в Ташкент...  
Мама и... предательство?

Открытая душа мамы, ее искренность и самоотверженность и... предательство?!

Я сжалась. Покой был потерян. Пыталась готовиться к концерту, но ничего, ничего не выходило. Я была расфредоточена, рассеяна...

Как-то все же дожили до 17 марта — до нашего отъезда.

На дворе мороз 10°. Вызвали такси, чтобы ехать сразу в легкой одежде: на мне белое пальто и соломенная шляпа, на муже — плащ.

В вагоне свободно. Едем в купе вдвоем.

В поезде постепенно отхожу. Муж перебирает взятые им с собой заготовки для «Ракового корпуса».

В три часа дня мы в столице Узбекистана. Гостиница «Ташкент».

Не зря ли он сюда приехал — думает мой муж. Эти сомнения, высказанные мне в первый вечер, не рассеялись у него и на следующий день, когда он уже побывал в онкодиспансере, ходил в белом халате, участвовал в обходе, но все же чувствовал себя «именитым гостем».

Он лишний раз убедился, что невозможно и нелепо «собирать материал». «Собирать материал» можно только своим горбом и не будучи (хотя бы для окружающих) никаким писателем. Иначе ты безнадежно сторонний наблюдатель, перед которым все притворяются или становятся на цыпочки.

Можно писать только о том, что пережил! — таково крепнувшее убеждение Солженицына. Выходит, что Лев Копелев прав?!

Началось это в горький для меня день 23 марта. За окном лил дождь, то и дело переходящий в ливень.

— Ну, давай поговорим! — наконец, сказал мне муж.

Он посадил меня на одну из двух кроватей, стоявших через узкий проход одна от другой, пристально глядя на меня, стал объяснять, в чем состояло «предательство» моей мамы...

Она слишком откровенно говорила с одной посетительницей о здоровье, вернее, о болезни своего зятя.

Я не поверила.

— Как ты можешь быть в этом уверен? — спросила я. — Кому она сказала?..

Муж назвал мне фамилию.

Я растерялась. Этой женщине — профессору из Ленинграда я склонна была доверять, хотя не знала ее лично. Но меня поразила другая мысль.

— Как она могла сказать тебе такое?.. Разве женщины с мужчинами на такие темы говорят?..



Муж молчал. Вероятно ждал, чтоб я догадалась...  
...Неужто?..

— Она... влюбилась в тебя?.. Ты с нею близок?..

— Да.

Я почему-то улыбнулась. Ученая женщина-профессор влюбилась в моего мужа...

Но в следующее мгновение слезы неудержимо полились из глаз...

— Ты помогла мне создать один роман. Разреши, чтобы она помогла мне создать другой! — услышала я.

И он стал объяснять, что я слабенькая, что мне не под силу пешие путешествия. А ему надо побродить по деревням. Она же неприхотливее меня и выносливее физически. А мы с ним будем путешествовать на машине... Ведь он — писатель. К нему нельзя применять обычные мерки.

Рушился наш мир, где я и он были неразделимы. В него вошла женщина. Заняла место в этом только на м двоим принадлежавшем мире!..

Многолетняя вера оказалась иллюзией.

— Я все понимаю, — вымолвила я наконец. — Мой этап в твоей жизни кончился. Но только позволь мне уйти совсем, уйти из жизни.

— Ты должна жить! — уговаривал меня Александр. — Если ты покончишь с собой — ты погубишь не только себя, ты погубишь и меня и мое творчество...

Он убеждает: ничего страшного не произошло, он любит меня. Его отношение ко мне и к ней — это «две непересекающиеся плоскости». Ко мне — одно чувство. К ней — «совсем другое».

Я настолько привыкла безоговорочно верить мужу, жить с сознанием того, что этот человек высок и исключителен, что мне в голову не могло прийти сомнение. Но... как пойти ему навстречу? Как переделать себя? Свои принципы?

Александрю казалось, что он так хорошо все придумал! Если только я соглашусь — всем будет хорошо! И его в то же время не будет мучить совесть. Ведь жена позволила...

Скажи кто-нибудь Солженицыну в те минуты, что его замысел противоречит и морали, и религии, и простой человечности — он не поверил бы и искренне удивился.

Он мучился от сознания, что так хорошо придуманный им план не удастся. И он приводил все новые доводы. Он доказывал, что его чувство ко мне станет еще глубже, что к нему прибавятся еще благодарность и восхищение, если я пойду на эту жертву.

А может быть это и есть вершина любви?! Страдать, сознавая, что приносишь себя в жертву. Может быть, в этом я обрету высшую радость? Но даже если так — смогу ли я?..

Кажется, я готова согласиться. И... снова реву. Опять ничего не знаю...

Так закончился день 23 марта 1964 года...

Тогда мне было не до того и я не проводила никаких параллелей. А ведь было в нашей жизни и другое 23 марта — 23 марта 1942 года, когда ко мне в Морозовскую заезжал мой муж-красноармеец по дороге в Сталинград. Тот день и этот... Да, полно, — один ли и тот же это человек?..

А на следующий день, 24 марта 1942 года, охмелевшая от счастья, я написала мужу письмо, которое он считал лучшим из всего, что было мною ему когда-либо написано.

И вот снова 24 марта, двадцать два года спустя...

За завтраком я ничего не могла есть. Казалось, горло сузилось.

Пойти на это? Продолжить то, что начато было семь лет назад — создавать ему все условия для творчества?! Тогда ему нужен был комфорт всей окружающей атмосферы, который я старалась создать ему своей музыкой, хорошо заведенным домом, умением угадать и выполнить любое его желание, своим старанием быть для него «душечкой»... Теперь ему нужен был еще и Комфорт совести, ведь *«совесть дается один только раз»!*..

А с другой стороны, как любил повторять мне мой муж, что я для него лучше всех женщин, какими бы красивыми и привлекательными они ни казались другим! И я так была уверена в его чувстве, в том, что я для него — единственная, что покорно подчинялась и слушалась его даже тогда, когда он противился тому, чтобы я завивалась, подкрашивалась, одевалась по моде. Не надо следовать моде, потому что каждому идет свое... И я, дурочка, во всем его слушалась?!..

Я знаю, что не была оригинальна, когда на следующий же день спустилась в парикмахерскую: постриглась, завилась... Вернувшись из онкодиспансера, муж нашел меня страдающей, но похорошевшей... Даже откровенно любовался мной.

Порой его красноречие меня гипнотизировало, захватывало, моментами даже увлекало; казалось, я готова покориться... И — снова впадала в отчаяние, не в состоянии победить внутреннего протеста...

Солженицын не только мучил меня. Он еще и... наблюдал. Уж не как муж — как писатель попросил меня заносить в дневник все, что я чувствую.

Тогда, да и много лет спустя, до конца 70-го года, скажи мне кто-нибудь, что я кого-либо постороннего посвящу в это, — не поверила бы.

Помню, осенью 69-го года после исключения Солженицына из Союза писателей я сожгла конверт с этими записями и письмами тех недель — тот самый, на котором рукой мужа было написано: «Наша злополучная история». Сожгла, чтобы никогда не увидели этих строк чужие глаза.

Когда я позже прочла полностью «Август четырнадцатого», то угадала в нем подступы к описанию «нашей злополучной истории».

Одна мудрая пожилая женщина объяснит мне пять лет спустя то, что я тогда смутно чувствовала, а выразить не могла. — «Для вас это была жизнь, а для него — материал».

Мы гуляем по парку онкодиспансера. Быть может, некоторые женщины оправдают Солженицына, когда он, обняв одной рукой меня, а второй — воображаемый стан другой женщины, сказал: «Тогда здесь у меня не было ни одной, а теперь — две».

Муж говорил мне, что я и она — «непересекающиеся плоскости» (образ, придуманный математиком!), но я чувствовала другое. Я чувствовала, что он, может быть, не отдавая себе отчета, все время сравнивал нас. То им были брошены мне слова: «ведь ты не великий музыкант!» — это на фоне женщины, которую считал выдающимся ученым. А то, напротив, был поражен, что и я, и она заговорили о Тютчеве, о его двойной жизни...

И так всегда и во всем?...

Не разумом — сердцем не могла я уступить мужу, не могла изменить своим принципам, убеждениям, своей натуре...

Не сердцем — разумом пыталась я сделать над собой невероятное усилие, чтобы уступить писателю. Во имя его творчества превозмочь себя, изменить, предать свои убеждения, принести их ему в жертву, а вместе с ними и саму себя...

Я уже не с соперницей своей боролась. Во мне женщина боролась с женой писателя. Кто же возьмет из них верх? Что окажется сильнее? Сердце или рассудок? Любовь женщины или жертвенность и самоунижение жены писателя?.. В ту пору я считала, что Солженицын вправе требовать этих качеств от жены.

2 апреля нас неприветливо встретила еще не проснувшаяся после зимы Рязань. Холодно. Зябко в наших легких пальто.

Дома... Мама, встревоженная, испуганная моей страшной худобой и отчаянием в глазах.

Мама не могла думать, что в самых великих мужчинах все же сидит первобытный человек, может быть, даже больше, чем в простых мужиках. И что в самых выдающихся женщинах порой бывает больше от примитивной бабы, чем в последней мешанке.

Сейчас, когда минуло десять лет и множество событий заставило меня по-иному оценивать людей и их поступки, мне трудно смириться с тем, что взрослый, прошедший огромную жизненную школу человек мог придать такое серьезное, даже решающее, значение какому-то неосторожному слову пожилой женщины (маме было в ту пору 74 года), преданность которой была испытана временем и несчастьями, пережитыми вместе.

Мой муж не объяснялся с мамой ни тогда, ни позже, но долго давал маме чувствовать свое молчаливое осуждение. Он так никогда и не понял, что сделал из мухи слона и доставил маме, да и мне, совершенно ненужные страдания.

У меня оставалась еще неделя неиспользованного отпуска. Еду в Москву, чтоб отвлечься.

Из Москвы я написала мужу письмо, что все хорошо обдумала и поняла, что не могу его делить с другой женщиной. Он должен выбрать. Если сразу решить не может,— я просила его уехать. Мне невыносимо жить с ним в одних и тех же стенах, видя его раздвоенным, чужим... Я связана с работой. Он ничем не связан.

Ответ писался со слезами. Александр не мог понять, как это его «за правду гонят из дому». Он достаточно наездился... Москва... Ленинград... Ташкент... Теперь-то самое время и пожить у домашнего очага. И — не дают!

Горечь обиды смешалась у меня с сочувствием к моему растерявшемуся мужу. И я предложила ему такой вариант: я в Рязани перестраиваю квартиру. Сделаю ему отдельный кабинет. Будем жить в разных комнатах, пока он не примет решения...

— Ну, делай! — согласился Александр.

Я помчалась к проректору по хозяйственной части: «Если вы не выполните моей просьбы, я все равно сделаю по-своему. Потом пусть хоть судят!»

После такого вступления моя просьба о переносе дверей в квартире показалась ему легко выполнимой.

Крошится штукатурка, бьется кирпич. Таскаю все это из дому. Тороплю рабочих, тороплю техника, штукатуров, маляров.

Покупаю материал. Шью новые шторы на окна, на двери, накидку на тахту...

Пианино и рояль, которые так хорошо, в унисон, звучали в нашем доме вместе, стоя близко друг от друга, разъезжаются по разным комнатам, как и мы с мужем. К нему в кабинет — рояль. А пианино переезжает в мой маленький будуар. Так мы живем некоторое время.

Надо же принимать решение! Как и все другое, ставшая перед Александром дилемма рассматривалась, вероятно, главным образом с точки зрения пользы или вреда его творчеству. Все — для литературы, все — для пользы дела!..

Все санкционировалось «высоким назначением», благородными целями, «сверхзадачей».

Перемена образа жизни могла бы нанести ущерб творчеству. И Александр решил подавить свое влечение к другой женщине.

«Она не годилась мне в подруги жизни», — признается он мне 6 лет спустя.

Конечно, тогда я ничего этого не понимала. Я просто надеялась на возвращение любви моего мужа. Жила, стараясь затаить свою боль, свой страх..

Наконец, оглашается приговор: «той женщины» в его жизни не будет. Я могу изъять из 21-й папки («мир учебных») ее письма и уничтожить их.

Вместо путешествия по деревням с «ученой женщиной» — он и я отправимся этим летом в нашу первую автомобильную поездку.

Так канули в Лету: ученая женщина из Ленинграда, так никогда мною не узнанная, горькие дни наших неурядиц, фантастический план мужа возродить на русской земле полигамию по творческим соображениям.

Шло время и сглаживался горький осадок от всей этой истории, от вырывавшейся на минуты мысли, что такому писателю, как Александр Исаевич, все дозволено.

Ничто не предвещало, что она, эта мысль, когда-нибудь снова станет доминантой многих его поступков.

Уезжая осенью на юг, муж оставит мне запечатанный конверт с надписью «Consuello» («Утешение») и попросит, чтобы я прочла это письмо, «если мне станет особенно тоскливо».

Он возвратится скорее, чем предполагал, не вынеся юга даже в «бархатный сезон» (в Солотче — лучше!), но письмо к тому времени будет прочтено.

Александр писал, что отгрел наш кризис, который убедил его еще больше прежнего: что никто-никто, как я, не может быть предан ему. Никто не может жить его интересами так, как я. И ни с кем никогда ему не могло бы быть так просто, так естественно, так легко, как со мной.

«Если вчувствоваться и вдуматься, то с годами наши связи с тобой становятся только прочнее и вечнее. Все отходит и отойдет как тленное и временное: смятения чувств, столкновения самолюбий, вспышки гнева, несправедливые обиды. Вспомни, они ведь не длились никогда подолгу, всегда их вытесняли любовь и жалость бесконечная друг к другу. Тебе больно — тотчас больно и мне».

Он просил хранить в душе эту нетленность и вечность нашей близости.

«Не из пафоса, а потому, что это так и есть,— писал он,— ничто уже, кроме смерти, не может нас разлучить. Но пусть она будет нескоро».

Спустя 6 лет «треугольник» повторился. На этот раз исход оказался другим.

А то письмо до сих пор хранится у меня. Когда мне становится особенно тоскливо, я его перечитываю.

Рязань — Москва — д. Рождество  
1969—1974 гг.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Глава I</i>	
ВОЙНА . . . . .	8
<i>Глава II</i>	
ФРОНТ . . . . .	26
<i>Глава III</i>	
МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА . . . . .	52
<i>Глава IV</i>	
МАРФИНО И МАВРИНО . . . . .	77
<i>Глава V</i>	
РЯДОМ С ИВАНОМ ДЕНИСОВИЧЕМ . . . . .	111
<i>Глава VI</i>	
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ . . . . .	128
<i>Глава VII</i>	
«ТИХОЕ ЖИТЬЕ» . . . . .	143
<i>Глава VIII</i>	
ПЕРЕКРЕСТКИ . . . . .	174



**Н. РЕШЕТОВСКАЯ**  
**В СПОРЕ СО ВРЕМЕНЕМ**  
Цена 41 коп.

41 коп.

